АЛЕКСАНДР ФРОСТ

ТЁМНАЯ СТОРОНА СЕВЕРОДОЛЬСКА

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ

ПЯТНАДЦАТЬ КНИГ. СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ ГЛАВ. ОДИН ГОРОД.



Полный цикл

Александр Фрост

Тёмная сторона Северодольска (Сборник рассказов)

«Автор»
2026

Фрост А.

Тёмная сторона Северодольска (Сборник рассказов) / А. Фрост — «Автор», 2026

Северодольск — обычный город-миллионник: пробки, панельные кварталы, районные отделы полиции. Обычный ровно до тех пор, пока не научишься смотреть. Майор уголовного розыска Михаил Астахов считался одним из лучших сыщиков города — до той весны, когда машина его сестры ушла с моста. После похорон он начал видеть то, чего не видит никто: чужие лица, надетые поверх человеческих. В доме покойного деда, за фальшивой стеной, его ждёт библиотека рода: бестиарий, дневники, четыреста лет чужих дел. В каждом деле у Астахова будет два итога: один для протокола, другой настоящий. Пятнадцать книг. Семьдесят пять глав. Один город.

© Фрост А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Книга 1. Ночной провожатый. Глава 1. Стакан кофе 6
Глава 2. Совы 12
Глава 3. Коробка из-под кроссовок 18
Глава 4. За печью 22
Глава 5. Три насечки 27
Книга 2. Холодные комнаты. Глава 6. Иней с той стороны 34
Глава 7. Шесть зим 39
Глава 8. Зимняя деньга 43
Глава 9. Что помнит мать 49
Глава 10. Живой огонь 53
Книга 3. Тот, кто вернулся. Глава 11. Двое одинаковых 59
Глава 12. Заявление без фамилии 65
Глава 13. Тот, кто платил долги 70
Глава 14. Гранёное железо 76
Глава 15. Приговор 85
Книга 4. Вызов на себя. Глава 16. Вызов на себя 90
Конец ознакомительного фрагмента. 92

Александр Фрост
Тёмная сторона Северодольска (Сборник рассказов)

Название: Тёмная сторона Северодольска. Полный цикл
Автор(-ы): Александр Фрост
Ссылка: https://author.today/work/643904

Книга 1. Ночной провожатый. Глава 1. Стакан кофе

Пал Палыч сначала решил, что кто-то бросил у скамейки пальто.

В шесть двадцать утра Заречный парк лежал в тумане так плотно, что фонари на центральной аллее висели в нём отдельными жёлтыми пятнами, без столбов. Пал Палыч шёл с метлой на плече, как с ружьём, и думал о том, что за ночь нанесло листа на три полных мешка и что новый директор парка опять велит вывозить своими силами, потому что машина в ремонте с августа.

Пальто лежало у крайней скамейки на площадке, которую в парке до сих пор называли танцплощадкой, хотя от танцплощадки остались только бетонное кольцо и четыре ржавых столба.

— Эй, — сказал Пал Палыч, не подходя. — Гражданин. Тут не ночлежка.

Пальто не отозвалось.

Он сделал шаг, потом ещё три, и метла съехала с плеча и стукнула черенком о плитку.

Девушка лежала на боку, подтянув колени, и была не в пальто, а в короткой светлой куртке, и куртка была застёгнута под горло. Волосы у неё намокли и прилипли к щеке. Глаза были открыты. Рядом, в полуметре, стоял на плитке бумажный стакан из кофейни, аккуратно стоял, ровно, и в нём ещё было кофе.

Пал Палыч работал в парке двадцать второй год и видел здесь всякое: и подравшихся, и спавших, и однажды человека, которому стало плохо с сердцем на велосипедной дорожке. Он знал, что надо подойти и проверить. Но подойти не смог.

Он отступил на аллею, достал телефон, промахнулся два раза по кнопке и сказал в трубку:

— Заречный парк. Танцплощадка. Тут девочка лежит. Мёртвая, наверно.

— Вы подходили? — спросил ровный женский голос.

— Нет, — сказал Пал Палыч. И зачем-то добавил: — Тут птиц нету.

Майор Астахов приехал в семь сорок, когда туман уже начал подниматься и стало видно, какое над городом низкое, серое, дождевое небо.

Он оставил машину у пятого входа, у ворот с облупившимися чугунными вензелями, показал удостоверение сержанту, который топтался у ленты, и пошёл по аллее, застёгивая куртку. На плитке лежал мокрый лист, и подошвы скользили.

У танцплощадки уже работали. Криминалист Лида Ковач в синем комбинезоне сидела на корточках и фотографировала плитку под разными углами. Двое из патрульно-постовой службы стояли у деревьев, отгоняя двух женщин с колясками, которые всё равно не уходили. Судебно-медицинский эксперт Аркадий Львович Гринько, худой, седой, в очках на цепочке, стоял над телом с таким видом, будто ему принесли неправильно оформленный документ.

— Астахов, — сказал Гринько, не оборачиваясь. — Опаздываете. Тело остывает без вас.

— Пробки на Кедрина. — Астахов остановился в двух шагах и посмотрел.

Девушке было лет девятнадцать. Тонкая, невысокая, светлая куртка, джинсы, кроссовки с отражателями на пятках. Одна рука под щекой, вторая вытянута вдоль тела. Ни драки, ни борьбы — Астахов оглядел плитку вокруг, мокрую, засыпанную листом, и не увидел ни смазанных следов, ни сдвинутого мусора. Лист лежал ровным слоем. Даже там, где, казалось бы, должен был кто-то стоять.

— Что имеем? — спросил он.

— Имеем девушку, — сказал Гринько. — Температура тела говорит, что она здесь часов с двух ночи, плюс-минус. Точнее скажу потом. Внешних повреждений, которые бы объясняли смерть, я не вижу. Следов удара нет. Признаков борьбы нет. Одежда в порядке, застёгнута, ничего не сорвано.

— Ограбление?

Лида Ковач, не поднимая головы, подняла руку в перчатке. В прозрачном пакете лежал телефон в чехле с ромашками.

— Телефон при ней, в кармане куртки. Разряжен. В другом кармане — наличные, тысяча двести. Серёжки на месте, цепочка на месте. Ключи на месте.

— То есть не ограбление, — сказал Астахов.

— То есть не ограбление, — согласилась Лида.

Астахов присел рядом с бумажным стаканом. Стакан стоял прямо, на дне ещё темнело. Крышка на месте. На боку — печать кофейни: «Тёплый угол», улица Стеклова, 9.

— Стакан кто-нибудь трогал?

— Нет, — сказала Лида. — Именно так и стоял. Я сначала думала, кто-то из наших поставил.

Он выпрямился и медленно обошёл площадку по кругу. Четыре ржавых столба. Бетонное кольцо. За кольцом — заросли, старый шиповник, а за шиповником начиналась роща: три десятка старых лип, самая старая часть парка, которую в городе называли просто рощей и куда вела одна натоптанная тропа к роднику.

От тропы к телу — метров двадцать. По листу — ни одного следа. Ни туда, ни обратно.

— Аркадий Львович.

— Слушаю.

— Она сюда как попала?

Гринько поднял очки на лоб.

— Молодой человек, я устанавливаю причину смерти, а не маршрут. Но раз уж вы спрашиваете. — Он показал карандашом на подошвы кроссовок. — Обувь чистая. Почти. Немного грязи по краю рифления, суховатой. В парке сейчас грязь мокрая. Делайте выводы, вы же сыщик.

— Значит, шла не по этой аллее.

— Значит, шла не по этой аллее, — эхом сказал Гринько и опустил очки. — И вот ещё. Взгляните на шею. Только руками не лезьте.

Астахов подошёл ближе и наклонился.

На шее девушки, чуть выше воротника куртки, шла тонкая линия. Не борозда, не след от шнура — след был такой тонкий, будто по коже провели остриём карандаша и стёрли. Он шёл наискось и терялся под воротником.

— Удавка? — спросил Астахов.

— Не похоже. Слишком тонко, и нет того, что бывает при удавке. — Гринько поджал губы. — Скажу больше: я вообще пока не понимаю, отчего она умерла. Сердце у девятнадцати лет останавливается редко и обычно с причиной. Причины я не вижу.

Астахов ещё раз посмотрел на лицо.

И на секунду — на очень короткую, меньше секунды, — ему показалось, что по коже девушки, по щеке и виску, тянется белёсый узор, тонкий, ветвистый, как изморозь на стекле или как след ползущей по мокрому окну воды.

Он моргнул.

Ничего не было. Мокрая щека, налипшие волосы, серый свет.

— Лида, — сказал он ровно. — Сними ещё раз лицо. Крупно.

— Сняла уже.

— Сними ещё раз.

Лида пожала плечом и сняла.

Астахов отошёл к столбам и постоял, глядя в сторону рощи. Оттуда, из-за шиповника, тянуло сыростью и чем-то ещё — так пахнет в старом погребе, куда год не заглядывали: мокрая земля, мокрая шерсть, холод.

За спиной хрустнул лист.

— Ну и осень, — сказал Шмелёв, останавливаясь рядом и запихивая в рот последний кусок булки. — Я, между прочим, второй раз в жизни завтракаю в машине. Первый был, когда женился.

— Костя.

— Молчу. — Шмелёв дожевал, сунул руки в карманы и посмотрел на танцплощадку. Лицо у него сразу стало другим, без всякого перехода. — Личность есть?

— Пока нет. Телефон разряжен.

— Ставлю на то, что через час будет. — Шмелёв кивнул на женщин с колясками. — Город маленький, а мамочки быстрые.

Он ошибся на двадцать минут.

* * *

Её звали Алина Тищенко. Девятнадцать лет, студентка второго курса Северодольского колледжа сервиса, прописана и проживает: улица Гагаринская, 41, квартира 108, с матерью. Подрабатывала в кофейне «Тёплый угол» на Стеклова, 9 — четыре смены в неделю.

Опознала мать, Марина Юрьевна, в половине первого дня, в морге на Заводской.

Астахов стоял в коридоре и слушал, как за дверью говорят два голоса — один тихий и служебный, второй никакой. Потом второй перестал быть никаким. Он подождал, пока звук уйдёт, и ещё три минуты, и только потом вошёл.

Марина Юрьевна сидела на стуле у стены, держа сумку на коленях обеими руками, как держат в поезде. Ей было лет сорок пять, и на ней была рабочая блуза с бейджем магазина «Радуга».

— Марина Юрьевна, — сказал Астахов. — Меня зовут Михаил Сергеевич. Я буду вести дело.

Она посмотрела на него снизу вверх.

— Вы найдёте?

Он не сказал «конечно». Он вообще старался никогда этого не говорить.

— Я сделаю всё, чтобы найти. Мне нужно, чтобы вы сейчас поговорили со мной. Это будет тяжело и это важно. Каждый час, который мы теряем, работает против нас.

Она кивнула.

Они сели в пустой ординаторской, где пахло хлоркой и растворимым кофе. Дежурная, Зинаида Марковна, женщина необъятная и добрая, поставила перед матерью стакан сладкого чая, посмотрела на Астахова поверх очков и сказала:

— А вам не дам. Вы третий раз за месяц у меня чай пьёте, а сахар мне никто не подвозит.

— Зинаида Марковна.

— Молчу, молчу.

Дверь закрылась.

— Алина ушла из дома вчера в двенадцатом часу ночи, — сказала Марина Юрьевна. — Я спала уже. Утром смотрю — постель не разобрана.

— Она часто уходила ночью?

— Она бегала. — Мать сказала это и вдруг заплакала, коротко, зло, вытирая лицо ладонью. — Бегала она. Ей врач сказал: девочка, у тебя бессонница, надо больше воздуха. Она и придумала. Группа у них там, в парке. «Совы» называются.

Астахов записал.

— Что за группа?

— Ну бегают ночью. Тренер у них есть, мужчина. Они в парке круги наматывают, часов до двух. Я ей говорила: не место девке ночью в парке. Она смеялась. Говорила: мам, там камеры, там фонари, там нас двенадцать человек.

— Их вчера было двенадцать?

— Не знаю.

Астахов перевернул страницу.

— Марина Юрьевна. Вы сказали — бессонница. Давно?

Мать помолчала.

— С конца лета. Может, с августа. Она стала плохо спать. И... — Она посмотрела в стакан. — Вы не подумайте плохого. Она не пила, не курила даже.

— Я не думаю плохого. Договаривайте.

— Она стала говорить странное. — Марина Юрьевна выговорила это с усилием, как признаются в чужом стыде. — Придёт с пробежки и сидит на кухне до утра. Я спрашиваю: что? А она: мам, ты Валеру из четвёртого подъезда давно видела? Я говорю: вчера видела, а что? А она: у него лицо не то.

Астахов не поднял головы от блокнота.

— Как — не то?

— Вот так и сказала. «Не то». Я говорю: Алина, ты что несёшь. А она: мам, я не знаю, как объяснить, я на него смотрю и вижу, что оно чужое. Как будто сверху надето.

Ручка остановилась.

— И часто она такое говорила?

— Раза три. Или четыре. — Мать снова вытерла глаза. — Я её к врачу хотела. Думала, переучилась, недосыпает. Она отказалась. Сказала: мам, я сама разберусь, мне тут один человек объяснил, что это бывает.

— Какой человек?

— Не сказала.

Астахов положил ручку.

— Марина Юрьевна. Это очень важно. Вспомните: она называла имя, фамилию, где встретила?

— Нет. — Мать подумала. — Только один раз сказала: «Он тоже так может».

В отделе стоял обычный дневной гул: телефон, чей-то принтер, чей-то смех из соседнего кабинета. Третий отдел управления уголовного розыска УВД по городу Северодольску занимал левое крыло второго этажа, и в левом крыле с апреля не работала половина батарей.

Астахов повесил куртку на спинку стула, включил чайник и разложил на столе то, что было.

Было немного.

Шмелёв вошёл боком, неся два стакана и папку под мышкой.

— Так. Кофе. Не благодари, я записал на тебя. — Он сел, бросил папку. — Камеры парка. Готов?

— Готов.

— Не готов. В Заречном шестнадцать камер. Из них работают шесть. Из этих шести на роще и танцплощадке — ни одной, потому что там с августа реконструкция, кабель перерубили экскаватором и до сих пор не срастили. — Шмелёв развёл руками. — Есть третий и пятый входы. Есть центральная аллея у фонтана.

— И?

— И вот. — Шмелёв открыл ноутбук. — Двадцать три сорок восемь, третий вход. Заходит наша девочка.

На экране в жёлтом свете фонаря появилась фигурка в светлой куртке. Прошла мимо камеры, чуть повернув голову. Одна.

— Так. Дальше.

— Дальше — ничего. Она в кадре четыре секунды и уходит в парк. Больше ни на одной камере не появляется. Ни живая, ни какая.

— А выходил кто-нибудь?

— Вот тут интересно. — Шмелёв промотал. — Ноль сорок две. Пятый вход.

Из парка на улицу вышел человек. Мужчина, среднего роста, в тёмной куртке с капюшоном. Он прошёл прямо под камерой, метрах в трёх, не торопясь, не пряча лица.

— Стоп, — сказал Астахов. — Назад. Кадр.

Шмелёв отмотал и остановил.

Фигура была резкой. Куртка резкая, капюшон резкий, даже молния на кармане была видна. Лицо — нет. На месте лица было размытое пятно, будто там, и только там, объектив потерял фокус.

— Следующий кадр.

То же самое.

— Следующий.

То же.

Шмелёв прощёлкал двадцать кадров подряд. Двадцать раз резкая куртка и двадцать раз мутное пятно.

— Ну вот такая у нас техника, — сказал Шмелёв. — Я, знаешь, на прошлой неделе с этих камер номер машины снимал. Так там вместо номера было настроение.

— Костя. Смотри на молнию.

— Смотрю.

— Молния в фокусе. Молния и лицо — на одном расстоянии от камеры.

Шмелёв помолчал.

— Ну, — сказал он наконец, — значит, техника у нас творческая. Слушай, а может, он в маске? Есть такие, светоотражающие. Или капюшон затеняет.

— Может, — сказал Астахов.

Он смотрел на экран и чувствовал, как в затылке начинает потягивать — знакомо, тупо, тем самым нытьём, которое началось у него в апреле и с тех пор приходило раза три в неделю, обычно к вечеру, обычно когда он слишком долго смотрел на что-нибудь неподвижное.

— Распечатай, — сказал он. — И запроси у них исходники, не сжатые. И узнай, кто обслуживает камеры в парке.

— Есть. — Шмелёв записал. — А теперь плохое. Тебя Гурьев искал.

— Давно?

— Дважды. Второй раз — недобро.

Кабинет подполковника Гурьева Валерия Тимофеевича был на третьем этаже и отличался от всех прочих кабинетов тем, что в нём было тепло.

— Садись, — сказал Гурьев. — Что по парку?

— Сутки не прошли, товарищ подполковник.

— Мне-то не рассказывай про сутки. — Гурьев подвинул к нему газету. «Северодольский вестник», четвёртая полоса, короткая заметка: «Тело девушки в Заречном парке. Полиция молчит». — Кисляк писала. Она мне утром звонила, я ей сказал: идёт проверка. Она мне на это: у вас в парке за девять месяцев сорок один зарегистрированный факт, из них двенадцать разбоев, и ни одного раскрытого по горячим. Врёт?

— Не врёт. Только у нас в парке за девять месяцев ни одного убийства не было.

— Вот именно, — сказал Гурьев. — Ни одного не было, а теперь есть. И теперь у меня в понедельник коллегия. Мне нужна версия.

— У меня их три.

— Слушаю.

Астахов загнул палец.

— Первое. Бытовое, с кем-то из знакомых. Проверяем окружение, парня, группу. Второе. Случайное нападение в парке — но при ней остались деньги и телефон, и на ней нет ни одного следа борьбы. Третье.

— Ну.

— Третье — что она пришла туда на встречу. Сама. С тем, кого знала.

Гурьев поморщился.

— А четвёртое? Ты же понимаешь, о чём меня спросят на коллегии.

— Понимаю. Спросят, не маньяк ли.

— Спросят, не маньяк ли, — кивнул Гурьев. — И если ты мне через неделю принесёшь второй труп в том же парке, я не смогу сказать «нет».

Астахов встал.

— Валерий Тимофеевич. Мне нужны люди на обход и запрос по группе «Совы» — это ночной беговой клуб, они в парке тренируются. Двенадцать человек как минимум.

— Возьми Шмелёва и двоих у Радченко. Больше не дам, у меня в Ключах свои радости.

— Хорошо.

— И Астахов. — Гурьев посмотрел на него поверх очков, и взгляд у него стал другой, не начальственный. — Ты как?

— Нормально.

— Ты после апреля первое такое дело ведёшь. Молодая девочка.

— Валерий Тимофеевич.

— Всё, всё. — Гурьев махнул рукой. — Иди работай.

Астахов вышел, прикрыл дверь и постоял секунду в коридоре.

В апреле его младшая сестра Настя не вписалась в поворот на Северном мосту, пробила ограждение и упала в реку. Восемь месяцев прав, машина третий год, ночь, мокрый асфальт. В заключении было написано «не справился с управлением». Дело закрыли за отсутствием события преступления, и закрыли правильно, потому что придраться было не к чему: ни встречки, ни другого участника, ни следов торможения.

Никаких следов торможения.

Он тогда прочитал это трижды и трижды сказал себе, что бывает.

С мая он стал видеть углом глаза то, чего нет.

Глава 2. Совы

Кофейня «Тёплый угол» на Стеклова, 9 была размером с трамвайную остановку: четыре столика, витрина с булочками и запах, ради которого сюда, видимо, и ходили.

За стойкой стояла девушка с бейджем «Даша» и красными глазами.

— Мы утром узнали, — сказала она. — Нам Виолетта Игоревна написала в чат. Я думала, шутка какая-то дурацкая.

— Даша, когда вы видели Алину в последний раз?

— Позавчера. Мы вместе смену закрывали, до десяти. Потом она домой пошла.

— А вчера?

— Вчера у неё выходной был.

Астахов достал фотографию бумажного стакана.

— Такой стакан у вас?

— Наш. — Даша посмотрела и вдруг нахмурилась. — А это вы где взяли?

— Рядом с ней нашли.

— Так а мы в десять закрываемся. — Даша повернулась к витрине, будто там был ответ. — В десять последний заказ, в десять пятнадцать всё, касса.

— Она могла взять кофе с собой днём и носить с собой?

— В стакане было?

— Было.

— Тогда нет. — Даша помотала головой. — Через два часа это уже не кофе, это компот. Она бы не стала.

Астахов записал: «Стакан. Кто налил после 22:00?»

— Даша. Ещё вопрос, и он вам покажется странным. За последний месяц Алина как себя вела? Ничего не изменилось?

Девушка помолчала.

— Она пугаться стала, — сказала она наконец. — Не как раньше.

— Кого?

— Не кого, а... — Даша повела рукой. — Ну вот стоит очередь, обычные люди, а она смотрит на кого-нибудь и белеет. И к кофемашине уходит. Я говорю: Аль, ты чего? Она: ничего, спина болит. А один раз — я прямо помню — зашёл дядька, мужик как мужик, куртка, борсетка, попросил капучино. И она мне говорит тихо: обслужи ты. Я говорю: почему? А она: я на него смотреть не могу.

— Он что-то сделал?

— Ничего. Взял капучино и ушёл. Хороший такой дядька, вежливый.

— Опишете?

Даша описала. Средний рост, лет сорок, короткая стрижка, куртка тёмная. Ни одной приметы, за которую можно было бы зацепиться.

— И вот ещё. — Даша замялась. — Вы только не смейтесь. Она в последнюю неделю про зеркала спрашивала. Правда ли, что в зеркале видно, как оно есть. Я думала, она в интернете начиталась.

Астахов дописал строку, закрыл блокнот и оставил на стойке визитку.

— Если вспомните ещё что-то — в любое время суток. Правда в любое.

На улице Шмелёв доедал вторую булку.

— Ты чего такой? — спросил он.

— Стакан, — сказал Астахов. — Кофейня закрывается в двадцать два. Она заходит в парк без двенадцати двенадцать. С полным стаканом горячего кофе. Откуда?

— Из круглосуточной на Кедрина?

— Печать «Тёплого угла».

Шмелёв перестал жевать.

— Значит, ей кто-то дал.

— Значит, ей кто-то дал, — сказал Астахов. — Кто-то, у кого есть их стаканы. И кто был с ней в парке в полночь.

Заречный парк днём выглядел так же обыкновенно, как любой городской парк осенью: коляски, собачники, три бабушки на скамейке у фонтана, гирлянда из мокрых флажков, оставшаяся с сентябрьского Дня города.

Астахов прошёл через весь парк пешком — от третьего входа, где Алина вошла, до танцплощадки. Восемьсот метров по центральной аллее, потом направо, мимо закрытого павильона проката, мимо строительного забора.

За забором работала реконструкция.

Он остановился и посмотрел через щель. Экскаватор, штабель бордюрного камня, вагончик. И справа, ближе к роще, — площадка, засыпанная свежей щепой, и на ней восемь пней. Пни были широкие, старые, и срезы уже потемнели.

Астахов сфотографировал.

— Мужчина, туда нельзя, — сказал кто-то за спиной.

Он обернулся. У вагончика стоял человек в жилете подрядчика.

— Полиция. — Астахов показал удостоверение. — Что здесь спилили?

— Липы. — Человек подошёл, вытирая руки. — Аварийные. У нас акт есть, всё по закону, комиссия смотрела. Восемь штук. Старые уже, дуплистые.

— Когда?

— В августе. Числа десятого, наверное. Мы тут дорожку кладём и родник в камень берём, чтобы благоустройство.

— Родник?

— Ну ключ там, за рощей. Из него вода бежит, местные набирают. Мы его в чашу возьмём, красиво будет.

— И как, взяли?

Строитель посмотрел на него с неожиданной досадой.

— Не идёт работа, — сказал он. — Три раза бетон вели — три раза не встал. Трещины даёт. Прораб говорит, грунт плывун. А мужики говорят другое.

— Что говорят?

— Да ерунду. — Он усмехнулся, не глядя в глаза. — Что место нехорошее. Двое уволились в сентябре, сразу оба. Сказали, спать не могут.

Астахов записал название подрядчика: «Зеленстрой-Плюс».

— А вы ночью тут кого-нибудь видели?

— Мы ночью не работаем. Сторож есть.

Тропа в рощу начиналась за шиповником и была узкая, вытоптанная до глины.

Астахов прошёл по ней метров полтораста, и город кончился.

Он не смог бы объяснить это словами в протоколе. Просто в какой-то момент за спиной перестал слышаться проспект — а он должен был слышаться, до Кедрина было четыреста метров, там всегда стоит машинный гул. Здесь его не было. Здесь были только липы, старые, в два обхвата, с чёрными от воды стволами, и лист под ногами лежал так толсто, что шаги стали беззвучными.

И птиц не было. Ни одной.

Родник открылся внезапно: маленькая заводь в корнях, обложенная кем-то давно и криво булыжником, и над ней — самая старая липа, наклонившаяся так, что почти легла.

Астахов присел у воды.

Вода была чистая и стояла неподвижно. Он опустил в неё пальцы — холодная, обычная.

И увидел в ней отражение.

Не своё. Вернее, своё тоже — его лицо, куртка, серое небо в просвете, — но за плечом, там, где по всем законам должен был стоять только ствол, стояла женщина.

Он не обернулся сразу. Он смотрел в воду и запоминал: старая, очень старая, в чём-то длинном и бесцветном, волосы как мокрая пакля, лицо ссохшееся. Она стояла, чуть наклонив голову, и смотрела на него в отражении так же спокойно, как он на неё.

Потом он обернулся.

Там был ствол. И больше ничего.

Астахов встал, вытер пальцы о джинсы, и рука у него дрожала — ровно настолько, чтобы он это заметил.

— Прекрасно, — сказал он вслух. — Прекрасно, Миша.

Он достал телефон и сфотографировал родник. На снимке была вода, камни, корни. Ствол.

За спиной хрустнул лист, и Астахов обернулся так быстро, что рука сама пошла к поясу.

По тропе шёл Пал Палыч с мешком.

— Ой, — сказал Пал Палыч. — Испугала вас, что ли, старуха?

Астахов очень медленно опустил руку.

— Какая старуха?

— Да это я так. — Дворник поставил мешок. — Присказка. У нас тут говорят: в роще старуха живёт. Бабки ещё моей матери говорили. Не бойся, мол, старухи в роще, она смирная, ты её не тронь — и она тебя.

— И вы её видели?

— Я? — Пал Палыч засмеялся. — Мне шестьдесят четыре года, я в парке двадцать два года работаю, я тут всё видел, кроме зарплаты. Не видел я никого. Но вот что скажу: до августа тут птица была. Соловей был, весной весь парк слушал. А как липы свалили — так и всё. Ушла птица.

— Пал Палыч, а пахнет тут почему так?

— Погребом? — Дворник поднял голову и потянул носом. — Это с августа. Раньше не было. Мужики с реконструкции нюхали, говорят, канализацию задели. Так тут нет канализации.

Он поднял мешок.

— Вы бы, товарищ следователь, ночью сюда не ходили, — сказал он вдруг, без всякой присказки в голосе.

— Почему?

— Не знаю, — честно ответил Пал Палыч. — А не ходите.

* * *

Ночная беговая группа «Совы» собиралась по вторникам, четвергам и субботам в двадцать три ноль-ноль у фонтана.

В четверг Астахов и Шмелёв приехали в двадцать два сорок.

У фонтана уже топтались люди в светоотражающих жилетах — человек десять, разного возраста, от студентов до плотного мужчины лет пятидесяти. Рядом стоял складной столик, на столике — термос, стопка бумажных стаканов и планшет с ведомостью.

— Смотри-ка, — тихо сказал Шмелёв. — Стаканчики.

Стаканы были с печатью «Тёплого угла».

Мужчина у столика разливал чай. Ему было лет сорок, среднего роста, в тёмной куртке, в тонких перчатках, несмотря на то что вечер был не холодный.

— Аркадий Свирин, — представился он, когда они подошли. — Администратор клуба. Ратмир сейчас подойдёт, он тренер. Вы по Алине?

— По Алине.

— Ужасно. — Свирин поставил термос. — Просто ужасно. Мы всей группой в шоке, я вчера обзванивал ребят, некоторые сегодня не пришли.

Астахов посмотрел на него.

И то, что произошло дальше, заняло примерно секунду.

Лицо Свирина — обыкновенное, ничем не примечательное лицо человека, который занимается ведомостями, — на этой секунде поехало. Не исказилось, не задрожало. Оно село неправильно, как маска, которую надели чуть набок: скула ушла в сторону, глаз оказался не там, где ему полагалось, и в щели между тем, что было надето, и тем, что под ним, мелькнуло что-то тёмное, гладкое и подвижное.

Потом лицо вернулось на место.

— Вам нехорошо? — вежливо спросил Свирин.

— Свет, — сказал Астахов. — Мигает.

Он поднял глаза на фонарь. Фонарь горел ровно.

— Аркадий, — сказал он. — Откуда у вас эти стаканы?

— Из «Тёплого угла», мы у них берём оптом. — Свирин улыбнулся. — Алина и предложила, она там работала. Со скидкой выходит. Мы чай раздаём после круга.

— То есть у вас всегда с собой запас стаканов.

— Всегда, — сказал Свирин. — Коробка в багажнике.

Он смотрел прямо, спокойно и слегка озабоченно — как смотрит человек, у которого случилось несчастье со знакомой девушкой и который старается помочь следствию.

— В ночь на четырнадцатое вы были в парке? — спросил Шмелёв.

— Нет, что вы. Во вторник была тренировка, а тринадцатое — понедельник. У нас в понедельник нет сбора.

— Но Алина была.

— Да. — Свирин помрачнел. — Она иногда бегала одна. Ратмир её ругал за это. Есть правило: ночью — только группой.

Подошёл тренер: высокий, жилистый, лет тридцати пяти, с лицом человека, который спит пять часов и считает это достижением.

— Ратмир Гулько, — сказал он, не подавая руки. — Я вам сразу скажу, чтоб не тянуть. Я в понедельник ночью был в парке.

Шмелёв поднял бровь.

— Смело.

— А что мне, врать? Вы всё равно узнаете. Я тут почти каждую ночь бегаю, это моя работа. — Гулько мотнул головой в сторону дорожки. — Я вышел в полночь, отработал десятку, ушёл в час с чем-то. Алину я не видел.

— Точно не видели?

— Точно.

— А кто-нибудь может подтвердить?

Гулько посмотрел на него сверху вниз.

— Никто, — сказал он. — Я один бегал.

Обратно шли через парк.

— Ну красавец, — сказал Шмелёв. — «Я один бегал». Это он тебе так алиби предлагает или уже сдаётся?

— Он не врёт.

— Ты по глазам определил?

— По тому, что врать в этом месте было незачем. Мы бы и так вышли на него через группу.

— Ага. А потом он бы сказал, что был дома, а мы бы это разбивали неделю. — Шмелёв поднял воротник. — Мишань, он последний, кто её видел, у него нет алиби, он мотается по

парку ночами, и он взрослый мужик, который тренирует девятнадцатилетних девочек. Я не говорю, что это он. Я говорю, что Гурьев на коллегии скажет: а что у нас по тренеру?

— Проверим тренера.

— Вот и я о чём.

Они дошли до третьего входа. Астахов остановился под камерой и посмотрел вверх, на объектив.

— Костя. Тот, кто вышел в ноль сорок две. Рост, походка.

— Средний. Не Гулько, если ты об этом. Гулько под метр девяносто.

— А на Свирина похож?

Шмелёв подумал.

— На Свирина похожи полгорода, — сказал он. — В том числе я.

Астахов не ответил.

Он думал о том, что видел у фонтана, и о том, как это будет выглядеть в рапорте, и о том, что в апреле, через две недели после похорон, он приехал на разбор мелкого разбоя и там, в отделе, впервые увидел у задержанного, как под лицом что-то шевельнулось.

Тогда он взял отпуск на десять дней и поехал в Ключи, к воде.

Помогло на четыре месяца.

* * *

Второе тело нашли через четыре дня, восемнадцатого октября, в половине седьмого утра.

На этот раз не Пал Палыч — на этот раз собачник с Литейной, который выпустил спаниеля побегать за прокатным павильоном.

Астахов приехал первым.

Мужчина лежал на боку у бетонного парапета, подтянув колени, левая рука под щекой. Куртка застёгнута. Рядом на парапете стоял бумажный стакан с печатью «Тёплого угла», и в стакане ещё было на два пальца чая.

— Ну здравствуйте, — тихо сказал Шмелёв за спиной, и это было самое сильное выражение, которое он себе позволял на месте.

Гринько приехал через двадцать минут и работал молча дольше обычного.

— Ну? — спросил Астахов.

— То же самое, — сказал эксперт, и голос у него был недовольный. — Слушайте меня внимательно, Астахов, потому что я это скажу один раз и в заключении напишу гораздо осторожнее. Причины смерти я не вижу. Ни у неё, ни у него. Сердце здоровое. Сосуды здоровые. Ни отравления, ни удушения, ни травмы.

— Так не бывает.

— Так не бывает, — согласился Гринько. — И тем не менее у меня в холодильнике лежат двое, которые умерли ни от чего. Единственное, что у них общего, кроме парка, — вот эта линия.

Он показал карандашом. По шее мужчины наискось шла тонкая, будто карандашом проведённая и стёртая черта.

— И вот что я вам скажу ещё. — Гринько выпрямился. — Я эту линию не могу описать. Она не ссадина, не странгуляционная борозда, не след давления. Под микроскопом — ничего. Кожа как кожа. А глазом видно.

Астахов посмотрел на лицо мужчины.

Белёсый узор шёл от виска к скуле — тонкий, ветвистый, как изморозь. Держался секунды три и растаял.

— Аркадий Львович. Вы у него на лице ничего не видите?

Гринько посмотрел.

— Щетина, — сказал он. — Трёхдневная.

Игорь Дудник, двадцать семь лет, курьер службы доставки, проживал: Литейная, 6, комната в общежитии. Не женат. Родители в Волоцке, за двести километров.

В группе «Совы» состоял с июня.

К одиннадцати утра телефон Дудника был разблокирован, и Шмелёв листал его на столе Астахова, отгородившись стаканом кофе.

— Так. Чат группы. «Совы Северодольск», двадцать три участника. — Он проматывал. — Обычная жизнь: кто во сколько, у кого какие кроссовки, мемы про дождь. Стоп. Вот.

Он развернул экран.

«Игорь Д., 2 октября, 03:14: слушайте а кто нибудь ещё замечал что в парке ночью не то что днём»

«Игорь Д., 2 октября, 03:15: я не про мистику. я про то что люди другие»

«Марго: игорёк ложись спать»

«Игорь Д., 2 октября, 03:22: ладно»

— Дальше?

— Дальше ничего, тема заглохла. — Шмелёв пролистал. — А вот в личке с Алиной интереснее.

«Игорь Д., 5 октября, 01:40: ты была права»

«Алина Т.: про что»

«Игорь Д.: про всё. я вчера в маршрутке ехал и увидел»

«Алина Т.: не пиши тут»

«Алина Т.: завтра у родника в 12. и никому»

«Игорь Д.: ок»

Астахов дочитал и не сразу поднял голову.

— Даты, — сказал он. — Она с августа. Он с начала октября.

— Ты о чём?

— Оба перестали спать. Оба стали говорить, что люди «не те». С разницей в полтора месяца.

Шмелёв откинулся на стуле.

— Или, — сказал он мягко, — оба сидели ночами в интернете и накрутили себя. Мишань, это ночной беговой клуб. Там люди спят по четыре часа принципиально. У них у всех крыша едет по расписанию.

— И оба умерли.

— И оба умерли, — согласился Шмелёв. — И оба ходили ночью в одно и то же место с одним и тем же тренером, который каждую ночь один там бегает и который у нас пока единственный, кто был рядом.

Астахов посмотрел на строчку «завтра у родника в 12».

— Костя. Родник — это где реконструкция. Туда с августа хода нет.

— Значит, лазили.

— Значит, лазили, — сказал Астахов. — Оба.

Глава 3. Коробка из-под кроссовок

Обыск в квартире Ратмира Гулько на Пионерской, 14 провели девятнадцатого октября утром, по постановлению, с двумя понятыми и с Лидой Ковач.

Гулько жил один, в двушке с турником в дверном проёме и без единой лишней вещи. На кухне — гречка, овсянка, весы. В комнате — стеллаж с медалями любительских забегов.

В нижнем ящике стеллажа Лида нашла коробку из-под кроссовок.

В коробке лежали: женская резинка для волос, ключница с брелоком-совой, дешёвые часы с треснувшим стеклом, две карточки постоянного покупателя на чужие имена, наушник без пары и сложенная вчетверо фотография, распечатанная на принтере, — Алина Тищенко у фонтана, снятая явно без её ведома, со спины и в профиль.

В комнате стало очень тихо.

— Понятые, подойдите, — сказала Лида ровным голосом.

Гулько стоял в дверях, держась за косяк.

— Это не то, — сказал он.

— Ратмир Валентинович, — сказал Астахов. — Одевайтесь.

Допрос начался в четырнадцать десять в кабинете двести шесть.

Гулько сидел прямо, положив руки на стол, и смотрел не на Астахова, а на стену за ним.

— Ратмир Валентинович, объясните, откуда у вас вещи Алины Тищенко.

— Резинка её. Часы не её. Ключница вообще Марго Сафиной, она в июле потеряла.

— Вы собирали вещи участников клуба?

Молчание.

— Ратмир Валентинович.

— Да, — сказал Гулько.

— Зачем?

Гулько наконец посмотрел ему в лицо, и Астахов увидел там не страх, а ту особенную усталую злость, с которой человек начинает говорить о себе правду.

— Затем, что я такой, — сказал он. — Я их не трогал. Никогда. Пальцем никого. Я подбираю то, что они забывают. Резинка на скамейке валялась. Ключница в траве. Никто их не искал.

— А фотография?

— Фотографию я снял. — Он опустил глаза. — Со спины. С двадцати метров. И распечатал.

Шмелёв, сидевший у окна, потёр лоб.

— Сколько таких коробок ещё?

— Одна. Эта.

— Ратмир Валентинович, — сказал Астахов. — В ночь на четырнадцатое вы были в парке. Алина была в парке. Через четыре дня в парке умер Игорь Дудник, ваш участник, и вы снова были в парке — я проверил, вы выложили пробежку в приложении, в ноль пятьдесят три вы прошли мимо прокатного павильона. Двести метров от тела.

Гулько побледнел. Медленно, некрасиво.

— Я его не видел.

— Двести метров.

— Я бежал по верхней дорожке, там кусты. — Он сжал кулаки на столе. — Слушайте. Я мразь, я знаю. Я в шестнадцать лет к психологу ходил, и я до сих пор хожу, у меня есть врач, я вам фамилию дам, звоните. Но я их не трогаю. Я на них смотрю. Это разное.

— Это разное, — сказал Астахов. — И это не снимает с вас вопроса.

— Я не убивал. — Гулько поднял голову, и голос у него сорвался. — Я, если хотите знать, вообще к роднику не хожу с августа.

Астахов сделал паузу.

— Почему?

— Потому что там дурно, — сказал Гулько. — Я там в конце августа десятку добегал и присел воды набрать. И меня накрыло. Не могу объяснить. Как будто спать захотел так, что глаза сами закрылись, а внутри при этом ужас. Я оттуда на четвереньках выполз, честное слово. Двое суток потом отлежал.

— Кому-нибудь говорили?

— Свирину сказал. Он посмеялся и говорит: обезвоживание, надо пить.

— Свирину, — повторил Астахов.

— Аркадию. Он у нас по хозяйству.

— Расскажите мне о нём.

Гулько пожал плечами.

— А что о нём рассказывать? Пришёл в мае, сам предложил помогать. Ведомость ведёт, чай возит, стаканчики, с администрацией парка договаривается. Удобный человек, безотказный.

— Он бегает?

— Нет. Никогда. — Гулько нахмурился, будто впервые об этом подумал. — Он приходит, ставит термос и стоит. А потом провожает.

— Кого провожает?

— Ну кого-нибудь. Кто один остался. Он говорит: девочки, ночью одному нельзя, давайте я до остановки.

Вечером Гурьев вызвал обоих.

На столе лежал «Северодольский вестник». На первой полосе: «Второй за неделю. Что происходит в Заречном?» Подпись: В. Кисляк.

— Читал? — спросил Гурьев.

— Читал.

— Она мне сегодня четырежды звонила. — Гурьев потёр глаза. — И четырежды спросила слово «маньяк». Я четырежды сказал: устанавливаются обстоятельства. В пятый раз я так не скажу, потому что в пятый раз она позвонит не мне, а в главк. Что по тренеру?

— Задержан на сорок восемь часов. По вещам — статья не наша, но человек, скажем прямо, нехороший.

— Показания?

— Отрицает убийства. По собиранию вещей и по съёмке признался сам.

Гурьев поднял глаза.

— Так это же он.

— Валерий Тимофеевич.

— Астахов, я двадцать лет в розыске. Взрослый мужик коллекционирует резиночки девятнадцатилетней девочки и фотографирует её тайком. Через два месяца она мёртвая в его парке. Ты мне что предлагаешь, других искать?

— Я предлагаю не закрывать глаза на то, что не сходится.

— Что не сходится?

Астахов положил на стол лист.

— Первое. Экспертиза не даёт причины смерти. Ни у неё, ни у него. Гулько — не отравитель и не врач, он тренер. Второе. На обоих телах — одинаковый след, который эксперт не может описать. Третье. Ни на одном теле, ни вокруг тел нет следов присутствия второго человека. Ни отпечатка подошвы, ни примятой травы, ни микрочастиц. Ковач говорит: как будто их положили с воздуха.

— Вертолётом, — сказал Гурьев.

— Четвёртое. — Астахов не отреагировал. — Оба погибших последние недели говорили близким, что «люди не те». Оба перестали спать. Оба назначили друг другу встречу у родника — у того самого места, куда с августа перекрыт доступ и где, по показаниям трёх человек, включая рабочих подрядчика, происходит что-то, от чего люди увольняются.

Гурьев долго молчал.

— Ты мне сейчас что рассказываешь? — спросил он наконец. — Про плохое место?

— Я рассказываю про место, где обе жертвы бывали и куда наш подозреваемый как раз перестал ходить.

— Хорошо. — Гурьев хлопнул ладонью по столу. — Хорошо. Даю тебе до конца недели. Работай по роднику, по подрядчику, по этому вашему администратору — как его?

— Свирин.

— По Свирину. Но, Астахов. Если в понедельник у меня не будет ничего, я оформляю Гулько и передаю материал следствию. И это будет правильно, слышишь? Потому что за окном второй труп, а у меня из версий — только он.

* * *

Домой Астахов приехал в половине первого ночи.

Он жил на Восьмой Заводской, в панельной девятиэтажке, в квартире, где после апреля так и стояли нераспакованные коробки Настиных вещей: мать не смогла разбирать, а он не смог отдать.

В подъезде на площадке второго этажа курила в форточку соседка тётя Люба.

— Миш, ты живой?

— Живой.

— А выглядишь, как наш лифт. — Тётя Люба выбросила окурок. — Слушай, а правда, что в Заречном душегуб завёлся? У нас во дворе говорят.

— Тёть Люб, у вас во дворе в прошлом году говорили, что в Кедрина метро строят.

— И построят!

Он поднялся к себе, не включая большой свет, сварил кофе, сел на кухне и разложил перед собой распечатки.

Кадр с камеры. Резкая куртка, мутное лицо.

Он смотрел на него минут двадцать.

Потом достал из ящика связку ключей, которую отдали ему в апреле вместе с Настиной сумкой.

Ключей было четыре. Три он знал: от её квартиры, от почтового ящика, от подвала на Гагаринской, где она держала велосипед.

Четвёртый был чужой. Длинный, старого литья, с квадратной бородкой. К нему проволочкой была прикручена картонная бирка, и на бирке Настиным почерком, тем самым, с завитком на «д», было написано:

«У деда. За печью. Не в подвал — за печью».

Он вертел этот ключ в руках, наверное, в двадцатый раз с апреля.

Дом деда, Егора Кузьмича, стоял в Старой Слободе на Тополиной, 12, пустой уже два года. Астахов был там один раз — забрать документы. Никакой печи он в доме не помнил. Печь была во времянке.

Телефон дёрнулся.

Незнакомый номер. Час ночи.

Он ответил.

В трубке было тихо. Не молчание человека, который слушает, — а другая тишина, ватная, глубокая, будто на том конце был не город.

Потом там очень мягко произнесли:

— Вы напрасно смотрите.

И отключились.

Он вышел из дома в час двадцать, чтобы посмотреть, кто звонил из четвёртого подъезда, и это была ошибка.

Двор был пустой. Три фонаря, из них горел один. Машины под тентами. Качели.

Астахов дошёл до арки и остановился, потому что в арке было темно так, как в арке быть не должно: за ней горела улица, а темнота стояла плотная, до самого края, и не пускала свет внутрь.

В темноте что-то шевельнулось.

Он не увидел человека. Он увидел, как из темноты потянулась нить.

Тонкая, белёсая, светящаяся собственным нездоровым светом — она вытянулась от арки к нему, неспешно, как тянется паутина в безветрие, и в ту секунду, когда она коснулась воздуха у его лица, Астахову захотелось спать.

Не устать. Именно спать — так, что подкосились колени и мир накренился, и стало ясно и спокойно, что можно сесть здесь, на бордюр, и всё будет хорошо.

Нить пошла к горлу.

Астахов ударил себя ребром ладони по бедру, изо всей силы, по старому шву, где два года назад собирали кость. Боль прошила ногу и вышибла из головы вату.

Он рванулся назад и упал спиной на капот чьей-то «Нивы». Взвыла сигнализация — оглушительно, на весь двор, — и во втором подъезде тут же зажёгся свет, и кто-то заорал в форточку всё, что думает о владельце «Нивы».

Нить втянулась в темноту.

Темнота в арке исчезла — просто перестала быть, и стало видно улицу, светофор, витрину аптеки.

Астахов сидел на асфальте у колеса, держась за горло.

На шее, под пальцами, была тонкая, будто карандашом проведённая полоса.

Глава 4. За печью

Дом на Тополиной, 12 стоял последним на улице, за ним начинался овраг и дальше — гаражи.

Астахов приехал в шесть утра, не заезжая в отдел. На шее под воротником саднило.

Старая Слобода просыпалась рано: где-то уже топили, пахло дымом и мокрыми досками, лаяла собака за три двора. Калитка была на щеколде, замок он снял ещё два года назад, когда вывозил документы.

В доме было холодно и пахло старой бумагой.

Он прошёл по комнатам, включая свет там, где ещё горели лампочки. Кухня с газовой плитой. Комната деда с железной кроватью и приёмником. Вторая комната, где стояли книжные полки — обычные, с советскими собраниями сочинений и подшивками «Науки и жизни».

Печи не было. В доме было газовое отопление, котёл поставили в девяностых.

Астахов сел на скрипучий стул и оглядел вторую комнату ещё раз.

Полки, полки, окно, полки. Между двумя стеллажами — простенок, оклеенный обоями, шириной метра полтора. Ничего.

Он встал и приложил ладонь к простенку.

Обои были наклеены прямо на побелку, а побелка — на кирпич. Астахов постучал. Звук был глухой у пола и чуть выше — и вдруг, на уровне груди, изменился.

Он отодвинул левый стеллаж, ободрав руку, и увидел то, что видно только если отодвинуть: вертикальный шов в обоях, ровный, аккуратный, и в нём — щель шириной с монету.

Дверца была там же, где ей и полагалось быть, если бы кто-то сто лет назад заложил печь и оставил её чело.

Астахов вставил ключ из Настиной связки.

Ключ вошёл до половины и встал.

Он подождал, повернул чуть-чуть влево, потом надавил — и замок пошёл, тяжело, с тем звуком, с каким проворачивается механизм, который делали, когда железо ещё берегли.

За дверцей была не печь.

Была лестница вниз, кирпичная, узкая, и снизу тянуло сухим холодом.

Подвал под домом на Тополиной, 12 был больше самого дома.

Астахов понял это, когда прошёл по нему двадцать шагов и упёрся не в стену, а в поворот. Свод был кирпичный, старой кладки, и на своде висели три лампы — обычные, на проводе, и провод был новым.

Он щёлкнул выключателем у лестницы. Лампы загорелись.

Вдоль стен, от пола до свода, стояли стеллажи.

Книги. Не собрания сочинений — книги в кожаных и полотняных переплётах, разного роста, некоторые с завязками. Папки. Картонные коробки, подписанные от руки. Толстые тетради в клеёнке, стопками, перевязанные бечёвкой. На одной из полок — деревянный ящик с отделениями, в отделениях аккуратно, по размеру, лежало железо: гвозди, лезвия, что-то похожее на грузила.

Астахов стоял и не двигался, наверное, минуту.

Потом он подошёл к ближайшей стопке тетрадей и снял верхнюю.

Клеёнчатая обложка. На первой странице, чернилами:

«Астахов Егор Кузьмич. Тетрадь одиннадцатая. Начата в апреле».

Он открыл наугад.

«12 мая. Заявка от Курочкиной с Литейной: сосед, дескать, по ночам ходит и стены слушает. Ходил. Смотрел. Сосед — обычный человек, ходит и слушает стены, потому что дурак и ревнивый. Дела нет.

19 мая. Ключи. У воды в Ключах опять сидит, вторую весну. Не трогать. Она никого не берёт, ей нужен покой и лягушки. Записать в книгу как безопасную, третий раз записываю, а внуки всё равно потом полезут.

3 июня. Заречье, роща. Проверил. Тихая на месте, спит. Липы стоят, ключ бежит. Пока стоят липы — она смирная. Особо: если тронут корни, тихая пойдёт брать полной мерой, и вины на ней не будет. Смотреть за парком раз в два года.»

Астахов очень медленно сел на ящик.

Он перечитал абзац четыре раза.

Потом он встал и пошёл вдоль стеллажей, читая корешки, и на третьем стеллаже нашёл то, что искал, потому что оно было самым большим и самым старым: том в потемневшей коже, лежащий отдельно, на наклонной подставке, как лежат в читальных залах словари.

На переплёте была тиснёная надпись, полустёртая: «Книга родов и обличий».

Он открыл.

Страницы были разного возраста. Первые — плотные, желтоватые, писанные так, что читалось с трудом. Дальше почерк менялся раз десять. Ближе к концу шли листы, вклеенные явно в прошлом веке, с машинописью и с фотографиями, приклеенными уголками.

Каждая статья была устроена одинаково: имя, обличье, признаки, повадка и внизу — одно слово. Астахов пролистал двадцать страниц и понял, что слов всего три: «безвредна», «опасна при условии», «истреблять».

Он нашёл «Тихую» на сто девятом листе.

«ТИХАЯ (роща, ключ, старое дерево).

Обличье: старуха, изредка — девочка, чаще не показывается вовсе.

Признаки места: птица уходит; запах погреба; в воде отражение не совпадает.

Повадка: берёт у спящих малую меру сна. Человек наутро вял, к вечеру отходит. Живёт при корнях старого дерева и при своей воде, дальше корней уйти не может.

Особо: доколе стоит её дерево — берёт по капле. Как дерево сведут, тихая умирает долго и берёт полной мерой со всякого, кто ляжет спать в её роще, не по злобе, а как тонущий хватает.

Особо второе: угасая, тихая отдаёт последнее тому, кто рядом. Отдаёт не сон, а глаза. Кто в её роще примет отданное, тот начинает видеть обличья.

Приговор: БЕЗВРЕДНА. Не истреблять. Беречь дерево.»

Астахов дочитал и сидел, положив ладони на страницу.

«Кто в её роще примет отданное, тот начинает видеть обличья».

Алина. Август. Липы спилили десятого августа.

Игорь. Начало октября.

Он.

Он сам — апрель, Настя, мост.

Нет. Он не был в роще.

Астахов встал так резко, что ящик отъехал по кирпичу.

Он нашёл нужное через сорок минут — не в книге, а в тетрадях.

Тетради стояли по годам, и последняя, двенадцатая, обрывалась на середине: дед умер два года назад, в ноябре. Астахов открыл её на последних записях и прочитал их подряд, все, до пустых страниц.

«9 сентября. Настя приезжала. Спрашивает, спрашивает, спрашивает. Отдал ей ключ. Пусть. Всё равно из всех троих она одна с головой.

14 сентября. Учил её книге. Смотрит и запоминает с одного раза, как мать.

2 октября. Плохо. Настя говорит, что видела в городе тавро. Спрашиваю: где? Говорит: на столбе у Северного моста, три насечки, свежие. Я велел ей забыть и не ходить туда. Она посмотрела на меня и ничего не сказала. Как мать.»

Дальше было две страницы, вырванные с корнем.

Потом — предпоследняя запись, другим почерком, торопливым:

«Если тавро — значит, они снова считают. Записываю для того, кто будет после меня: Инквизиторы не приходят за нами. Инквизиторы приходят за глазами. Они не станут искать Хранителя, у которого книга и род. Они возьмут того, у кого глаза только открылись и кто ещё никому не сказал. Так проще и так надёжнее: видящих не станет — и мы ослепнем сами по себе, через два поколения, без всякой войны.

Роду нашему четыреста лет. Им — больше.»

И последняя строка, уже совсем криво:

«Мишку не втягивать. Пусть служит и не знает.»

Астахов закрыл тетрадь.

Наверху, в доме, что-то стукнуло — просто хлопнула от сквозняка форточка, — и он поймал себя на том, что стоит вполоборота к лестнице и рука на поясе.

Он посмотрел на часы. Было двадцать минут десятого. В десять у него был назначен опрос по подрядчику.

Он поднялся, выключил лампы, запер дверцу, придвинул стеллаж и вышел на улицу, в обычное осеннее утро, где пахло дымом и мокрыми досками.

Сел в машину. Положил руки на руль.

«Настя говорит, что видела в городе тавро».

«На столбе у Северного моста».

Северный мост. Апрель. Никаких следов торможения.

Астахов сидел в машине минут пять, и ему было плохо ровно так, как бывает, когда доказательство наконец сходится, а лучше бы не сходилось.

Потом он поехал в отдел, потому что у него было двое мёртвых, а до понедельника оставалось три дня.

* * *

— Значит, так, — сказал Шмелёв, раскладывая по столу листы. — Подрядчик. «Зеленстрой-Плюс», директор Кушнир, работают с апреля по муниципальному контракту. Акт обследования зелёных насаждений: восемь лип признаны аварийными. Комиссия из трёх человек. Спил — десятое августа.

— Кто в комиссии?

— Дендролог из «Зеленхоза», представитель администрации парка и, — Шмелёв поднял бровь, — общественность.

— Какая общественность?

— Вот тут смешно. Общественность у нас — гражданин Свирин Аркадий Леонидович. Представитель, цитирую, «клуба любителей ночного бега „Совы“, использующего территорию».

Астахов положил ручку.

— Он подписал акт на вырубку.

— Он подписал акт. И он же, по словам директора парка, эту вырубку два месяца пробивал. Ходил, звонил, писал обращения: аварийные деревья, угроза жизни спортсменов. Прямо гражданская позиция.

— Костя. — Астахов подвинул к себе распечатку. — Дай мне протоколы опроса участников группы. Все.

— Зачем?

— Описание Свирина.

Шмелёв дал.

Астахов разложил четыре листа в ряд и провёл пальцем по строчкам.

Сафина Маргарита: «Аркадий? Ну такой, невысокий, лет тридцать пять, светлый».

Курбатов Денис: «Высокий, худой, за сорок, тёмный, с бородкой».

Ерёмина Ольга: «Обычный мужчина, лет пятидесяти. Полный. Приятный такой».

Гулько Ратмир: «Средний. Сорок. Как все».

Шмелёв читал вместе с ним и постепенно переставал улыбаться.

— Они его видят по-разному, — сказал Астахов.

— Они его видят раз в неделю в темноте. Люди вообще не умеют описывать.

— Костя, тут разница в двадцать лет и в двух телосложениях. Марго с ним ведомость сверяет каждую тренировку.

Шмелёв взял листы и перечитал ещё раз.

— Ладно, — сказал он наконец. — Допустим, у нас есть человек, которого никто не может нормально описать, которого не берёт камера, который пробил вырубку у родника, у которого коробка стаканчиков в багажнике и который вызывается провожать тех, кто остался один. Допустим. Это красиво. Это очень красиво, Мишань, но это не доказательство, потому что мотива нет. Зачем администратору бегового клуба убивать двух своих же участников?

Астахов молчал.

— Ну? — Шмелёв смотрел на него. — Вот тут ты обычно говоришь.

— Затем, что они начали видеть, — сказал Астахов.

— Видеть что?

Астахов посмотрел на напарника: на его мятый воротник, на крошки от булки на папке, на то, как он в третий раз за утро греет остывший кофе кипятильником, потому что чайник в отделе унесли в бухгалтерию.

Он подумал: сказать.

Он подумал: и потом что. Костя пойдёт с этим к Гурьеву — не со зла, а потому что честный. Или не пойдёт, и будет носить это в себе, и через месяц у него будут спрашивать, а он будет отвечать, и в его личном деле появится строчка. Или поверит — и тогда он станет вторым, кто знает, а всех, кто знал, судя по тетрадям, считают.

— Видеть то, чего им не следовало, — сказал Астахов. — Костя, у меня нет доказательства. У меня есть три несостыковки и ощущение.

— Ощущение к делу не подошьёшь.

— Знаю.

Шмелёв смотрел на него ещё секунду дольше, чем нужно.

— Мишань, — сказал он другим голосом. — У тебя что на шее?

Астахов поправил воротник.

— Веткой зацепил.

— Веткой, — повторил Шмелёв.

— Веткой.

— Ага, — сказал Шмелёв и отвернулся к монитору. — Ветка. Хорошо.

Он больше ничего не спросил, и это было хуже, чем если бы спросил.

В подвал на Тополиной он вернулся в тот же вечер, в девять, и просидел там до полуночи.

«Книга родов и обличий» открывалась тяжело, и страницы в ней шли не по алфавиту, а по какому-то своему порядку, понятному тому, кто её вёл. Астахов нашёл нужное на шестьдесят втором листе, и нашёл не потому, что искал по названию, а потому, что искал по признаку: «в отражении не держится».

«ПЕРЕСМЕШНИК, он же личинник.

Обличье: чужое лицо, снятое с человека. Своего не имеет.

Признаки: в памяти не держится — всякий, кто видел, опишет по-своему, и все опишут по-разному. В стекле, в воде и на карточке лицо расплывается. Голого железа не берёт, оттого ходит в рукавицах или в перчатках круглый год.

Повадка: не кормится людьми. Кормится службой: приставлен — и исполняет, а сам не выбирает и не спорит. Берёт нитью: нить тонкая, светлая, тянется на десять шагов, и кто её

примет, тому сначала захочется спать, а после он уснёт совсем. След от нити виден Хранителю и не виден лекарю.

Особо: личина держится на чужом имени, покуда его так зовут. Назови по роду вслух — и личина сойдёт, и он станет виден всякому. Тогда бери железом.

Приговор: ИСТРЕБЛЯТЬ. Помни, однако: истребив пересмешника, ты не тронул того, кто его приставил.»

Астахов переписал это в блокнот, слово в слово, и только потом заметил, что переписывает в тот же блокнот, где у него шли даты выемок и телефоны свидетелей, — и что это, если блокнот когда-нибудь попадёт в дело, объяснить будет нечем.

Он вырвал листы и переложил во внутренний карман.

Из деревянного ящика он взял три штуки — не гвозди, как ему сначала показалось: гранёные, тяжёлые, в ладонь длиной, с тупым хвостовиком, потемневшие от времени. На хвостовике каждого стояло клеймо: две буквы и знак.

Он взвесил одну на руке.

Обычное железо. Холодное.

Глава 5. Три насечки

В субботу тренировки не было: Гулько сидел в изоляторе временного содержания, группа висела в чате в состоянии тихой паники, и Марго Сафина написала: «ребят я в парк больше ни ногой».

Астахов приехал к пятому входу в двадцать три сорок, оставил машину за два квартала и вошёл в парк не через ворота, а через пролом в ограде у гаражей — тот самый, про который ему рассказал Пал Палыч.

Ночь была сухая и ясная, с той ранней осенней ясностью, когда видно звёзды даже над городом.

Он прошёл мимо танцплощадки, мимо строительного забора, отогнул профлист и оказался на стройке.

Здесь было тихо. Экскаватор стоял, задрав ковш. Вдоль будущей дорожки шла траншея, метра полтора глубиной, длинная, неогороженная — только два колышка с обрывком сигнальной ленты, и лента давно валялась в глине.

Астахов запомнил, где она.

Потом он поднял воротник и пошёл в рощу.

Тропа была та же, и город кончился на том же месте.

У родника было светлее, чем должно быть: вода в заводи чуть светилась — не отражённым светом, а собственным, и от неё поднимался слабый пар, хотя ночь была не холодная.

Старая липа лежала.

Не упала — легла: наклонённый ствол за неделю осел, корни с одной стороны вывернуло из земли, и в яме под корнями блестела вода.

Астахов подошёл и присел у заводи.

— Я знаю, что ты здесь, — сказал он.

Он не чувствовал себя глупо. Это было хуже всего.

Вода дрогнула, и в ней проступило отражение: он сам, звёзды, и за плечом — старуха.

Теперь он её видел не только в воде. Она стояла в трёх шагах, у вывороченных корней, и была меньше, чем в первый раз, — как будто за неделю села, ссохлась. Волосы висели мокрой паклей. Лица почти не было — только очень старые глаза.

Она молчала.

— Ты взяла их, — сказал Астахов. — Алину. Игоря.

Старуха качнула головой. Медленно, из стороны в сторону.

— Ты им дала.

Она не ответила и на это, но опустила голову — и Астахов понял, что это и есть ответ.

— Ты умираешь.

Тишина.

Он посидел ещё немного. От воды тянуло холодом и запахом погреба, и в этом запахе теперь ясно слышалось что-то другое: так пахнет остывающая печь.

— Я не буду тебя трогать, — сказал он. — В книге написано «беречь дерево». Дерево свели без меня. Я не успею его вернуть.

Старуха шагнула ближе.

Астахов не отодвинулся.

Она подняла руку — сухую, в узлах, — и показала не на него, а мимо, за его плечо, в сторону стройки. Потом свела два пальца и провела ими по воздуху сверху вниз, коротко и точно.

Нить.

— Он придёт сюда?

Она показала снова: вниз. И ещё раз: вниз.

— Он уже здесь, — сказал Астахов.

За спиной, на тропе, хрустнул лист.

— Ночью в парке одному нельзя, Михаил Сергеевич, — мягко сказал Свирин. — Я это всем говорю.

Он стоял на тропе, метрах в десяти, в той же тёмной куртке и в тонких перчатках. В руке у него был бумажный стакан.

— Чай будете? — спросил он. — Я всегда с термосом.

— Не буду, — сказал Астахов.

Он встал, медленно, держа правую руку у бедра.

— Зря. — Свирин поставил стакан на пень, аккуратно, ровно, как ставят на стол. — Ночь холодная.

— Ночь тёплая.

— Ну, кому как. — Свирин сделал два шага и остановился. — Я, знаете, всё ждал, когда вы придёте сюда сами. Обычно приходят сами. Это удобно, никого не надо провожать.

— Как Алину.

— Алину я провожал, — сказал Свирин, не меняя ни выражения, ни тона. — Она осталась одна, я предложил, она согласилась. Мы дошли до танцплощадки, я налил ей кофе. Она пила и рассказывала про мать. У неё мать в «Радуге» работает, вы знаете?

— Знаю.

— Хорошая девочка была. Она мне и не мешала совсем. — Он чуть склонил голову. — Понимаете, я ничего не имею против. Ни против неё, ни против того парня, ни против вас. Это никогда не про людей.

— А про что?

— Про счёт, — сказал Свирин.

Он был очень спокоен, и говорил он ровно, вежливо, и всё-таки в его речи что-то было не так — не акцент, не запинка. Он ставил ударения чуть-чуть не там, где ставит человек, который вырос со словом. Как будто выучил язык идеально, но по книге, и книге было триста лет.

— Их стало слишком много в этом году, — продолжал он. — Всегда бывает много, когда где-нибудь сводят рощу или засыпают ключ. Люди строят, а мы потом ходим и считаем. Двое здесь. Один в Ключах, в мае. Ещё одна была весной, но с той разобрались до меня.

Астахов не пошевелился.

— Весной, — сказал он.

— На мосту, — кивнул Свирин. — Не моя работа, я тогда был в другом городе. Мне только передали ведомость.

Пауза длилась, наверное, полторы секунды.

Потом Астахов сказал очень ровно:

— Кто передал?

— А вот этого я вам не скажу. — Свирин чуть улыбнулся, и улыбка тоже была вежливая. — Не из упрямства. Я правда не знаю. Я вообще мало знаю, Михаил Сергеевич, я мелкая сошка, я хожу и убираю. И вас я убирать не хотел бы — вы в моей ведомости не значитесь. Вы значитесь как «полиция». Но вы неудобно смотрите. Вы четыре дня смотрите так, как смотреть не полагается.

— Я звонок помню, — сказал Астахов. — «Вы напрасно смотрите».

— Я предупредил, — сказал Свирин с лёгким укором. — Я всегда предупреждаю. Мне за это, между прочим, попадает.

И потянул нить.

Астахов был к этому готов — насколько к этому можно быть готовым.

Нить пошла не по прямой: она вышла из-под левой перчатки Свирина, вильнула вбок, обошла его слева, и Астахов почувствовал её не глазами, а затылком — как чувствуешь чужой взгляд.

Он резко присел и ушёл вправо, за корни.

Спать захотелось мгновенно. Не постепенно — как выключили: колени стали чужие, звёзды поплыли и стали мягкими, и мысль о том, чтобы лечь тут, в листву, у тёплой воды, была самой разумной мыслью за всю осень.

Астахов вогнал большой палец в шов на бедре и надавил.

Боль вернула звёздам резкость.

— Не надо, — сказал Свирин почти сочувственно. — Так только хуже. Так вы устанете и всё равно ляжете, только с болью. Зачем?

— Аркадий Леонидович, — сказал Астахов.

— Что?

— Ничего. Проверяю.

Он произнёс имя — и ничего не случилось. Личина сидела как влитая, обычное лицо человека сорока лет, среднего роста, за которое не зацепишься.

«Назови по роду вслух».

Не по имени. По роду.

Астахов вытащил из кармана гранёный штырь и перехватил его в кулаке.

— Не стоит, — сказал Свирин. — Я это уже видел. Четыреста лет вашего рода, а вещи всё те же.

Нить пошла второй раз, шире, и теперь их было две.

Астахов метнулся к заводи — три шага, в воду по щиколотку, — потому что старуха, стоявшая у корней, подняла обе руки.

Вода поднялась.

Не волной. Она встала — тонкой, дрожащей стеной, в полметра, между ним и тропой, и нити, дойдя до неё, повели себя как паутина, попавшая под дождь: обвисли, слиплись, стали видимыми.

Свирин впервые изменился в лице.

— Ты ещё жива, — сказал он старухе, и в голосе у него была не злость, а раздражение служащего, у которого сорвался график. — Ты должна была отойти в четверг.

Старуха смотрела на него.

И Астахов, стоя по щиколотку в светящейся воде, увидел наконец в этой воде отражение того, кто стоял на тропе.

В отражении не было человека сорока лет.

Отражение он потом не смог бы описать никакими словами протокола, и не пытался. Он запомнил только, что оно было гладкое, тёмное и что лиц у него было много, и все чужие, и все не в фокусе, и одно из них было женское, молодое и очень испуганное, и оно шевелило губами.

— Пересмешник, — сказал Астахов.

Тропа осталась пустой на полсекунды.

Потом на ней стояло то, что стояло, — и его теперь было видно всякому: и Астахову, и старухе, и, если бы кто-нибудь оказался рядом, любому случайному человеку.

Личина сошла.

Оно взвыло — тонко, на одной ноте, и звук был такой, что вода в заводи пошла рябью, — и бросилось не на Астахова, а прочь, к пролому в заборе, к стройке, потому что то, что кормится службой, дорожит собой больше всего.

Астахов побежал за ним.

Он бежал по стройке, по глине, между штабелями бордюрного камня, и видел впереди спину — уже снова в куртке, уже снова похожую на человеческую, потому что личина возвращалась на ходу, как натягивают на бегу мокрую одежду.

— Стой! — заорал Астахов, и это было единственное, что он потом честно записал в рапорт. — Полиция! Стой!

Оно оглянулось — и в это мгновение лицо у него было ещё не своё и уже не чужое.

И оно не увидело траншеи.

Полтора метра, узкая, с бетонной подготовкой на дне и торчащей арматурой, оставленная незакрытой с вечера пятницы, — та самая, у которой три раза не встал бетон.

Звук был короткий.

Астахов добежал до края и остановился.

Внизу, в темноте, лежал человек. Обыкновенный человек лет сорока, среднего роста, в тёмной куртке, в тонких перчатках. Он лежал неудобно и неподвижно, и в неверном свете дальнего фонаря его лицо было наконец совершенно чётким и совершенно никаким.

Астахов постоял, дыша.

Потом достал телефон, посмотрел на время — ноль сорок две — и вызвал дежурную часть.

Пока ехали, он спустился, проверил пульс, не нашёл и поднялся обратно, стараясь наступать в собственные следы.

В левом кармане куртки лежала связка ключей от «Ниссана».

В багажнике «Ниссана», который стоял у пятого входа, потом нашли: коробку бумажных стаканов с печатью «Тёплого угла», термос, планшет с ведомостью клуба, наушник от беспроводной пары в чехле с ромашками, ключи от комнаты в общежитии на Литейной, 6 и моток тонкой лески, намотанный на деревянную катушку.

Лески на катушке было ровно столько, сколько бывает у человека, который никогда не ловил рыбу.

* * *

Проверка по факту гибели гражданина Свирина А. Л. заняла девять дней.

Официально всё выглядело почти прилично.

Майор Астахов, отрабатывая версию о причастности к убийствам лица из окружения потерпевших, в ночь на двадцать шестое октября находился в Заречном парке. Обнаружив в закрытой для посещения зоне гражданина Свирина, потребовал предъявить документы. Свирин напал на сотрудника, что подтверждается характером повреждения на шее последнего, после чего попытался скрыться и в темноте, на неогороженном участке производства работ, упал в траншею глубиной 1,6 метра.

Смерть наступила от травм, полученных при падении. Претензий к сотруднику нет; отдельным представлением в адрес ООО «Зеленстрой-Плюс» внесено требование об устранении нарушений при ограждении траншей.

В багажнике автомобиля погибшего обнаружены вещи обоих потерпевших. Ключи от комнаты Дудника подошли. Наушник совпал с оставшимся у Тищенко по серийному номеру.

Уголовные дела по фактам убийства Тищенко А. С. и Дудника И. В. прекращены в связи со смертью лица, подлежащего привлечению.

Гулько Ратмира Валентиновича освободили из ИВС двадцать седьмого октября. Материал в отношении него по факту скрытой съёмки выделили отдельно, из клуба его убрали в тот же день, и в чате «Совы Северодольск» после этого никто ничего не писал одиннадцать дней.

В графе «мотив» Астахов написал: «личная неприязнь, установить не представилось возможным».

Он смотрел на эту строчку минуты три, прежде чем поставить точку.

— Ну хорошо, — сказал Гринько.

Он сидел у себя в кабинете на Заводской, между шкафом и календарём за позапрошлый год, и держал заключение на вытянутой руке, как держат нечто, пахнущее.

— Хорошо, — повторил он. — «Механическая асфиксия, механизм достоверно не установлен». Астахов, вы понимаете, что я подписываю?

— Понимаю.

— Вы не понимаете. Я тридцать один год пишу «установлено». Я один раз в жизни писал «не установлено», в девяносто восьмом, когда мне привезли утопленника из Ключей. — Гринько положил бумагу. — И знаете, что интересно? У того утопленника тоже была линия на шее.

Астахов молчал.

— Я вам скажу как эксперт эксперту, — сказал Гринько. — То есть как эксперт сыщику, но неважно. Ваш Свирин их не душил. Ничем. Ни леской, ни руками, ни подушкой. У них нет ничего, что бывает при удушении, — ничего, кроме следа, который я не могу объяснить. Вы понимаете, что это значит?

— Что дело закрыто неправильно.

— Что дело закрыто удобно, — поправил Гринько. — Это разные вещи, и вторая встречается чаще.

Он подписал.

— Идите, Астахов. И знаете что? Приходите ко мне, если ещё раз увидите эту линию. Не в отдел приходите. Ко мне.

Марину Юрьевну он нашёл во дворе на Гагаринской. Она несла два пакета из «Радуги» и остановилась, когда его увидела.

— Вы нашли, — сказала она.

— Мы установили, кто это сделал.

— Мне позвонили из следствия. Сказали, он умер.

— Умер.

Она поставила пакеты на асфальт.

— За что? — спросила она.

Астахов знал ответ.

Ответ был такой: ваша дочь в августе ночью присела у родника в Заречной роще, в том месте, где спилили восемь старых лип, и умирающее существо, которое жило там при корнях дольше, чем стоит Северодольск, отдало ей последнее, что у него было, — не жизнь, не силу, а зрение. И с этого августа ваша дочь стала видеть то, что есть, а не то, что показывают. И через полтора месяца её нашли и вычеркнули, потому что кто-то очень старый ведёт счёт таким людям и давно решил, что их не должно быть.

— Ни за что, — сказал Астахов.

Марина Юрьевна долго на него смотрела.

— Вот и мне так сказали, — проговорила она. — В следствии. Слово в слово. «Ни за что». Как будто вас там учат.

Она подняла пакеты и пошла к подъезду, а он остался стоять.

Пожилая женщина у второго подъезда посмотрела ему вслед и сказала соседке достаточно громко, чтобы он услышал:

— Из полиции. Ходят теперь. А когда девка живая была, где ходили?

Гурьев вызвал его в четверг, после коллегии, и был почти доволен.

— По области дали справку, — сказал он. — Нас в пример поставили: восемь суток, два эпизода, лицо установлено. Кисляк написала — читал?

— Читал.

Заголовок был: «Ночной провожатый. Кто он был?» На фотографии — Заречный парк, фонтан, флажки.

— Ну и хорошо, — сказал Гурьев. — Мне спокойно, тебе премия, городу тихо.

— Валерий Тимофеевич.

— Ну?

— Он был не один.

Гурьев отложил ручку.

— Астахов. У тебя есть на это хоть что-нибудь?

Астахов подумал: в багажнике леска, которой не душат. Тетради в подвале, которых нет ни в одной описи. Три насечки на столбе у Северного моста, которые видела Настя за полгода до того, как её машина ушла с моста без единого следа торможения. Слова человека, который уже неделю как лежит в холодильнике у Гринько.

— Нет, — сказал он.

— Тогда иди работай. — Гурьев помолчал. — И слушай. Ты хорошо отработал. Правда хорошо. Но ты за эти восемь суток похудел на человека. Возьми три дня.

— Возьму.

Он не взял.

Шмелёв догнал его на лестнице.

— Мишань.

— Ну?

— Я твой рапорт подписывал как второй сотрудник. — Шмелёв держал руки в карманах и смотрел не на него, а на пролёт. — Там написано: «имея оперативную информацию, полученную в ходе отработки окружения».

— Написано.

— Не было никакой информации. Я всю неделю с тобой сидел. Ты в парк поехал в полночь, один, никому не сказав, и меня не взял. — Шмелёв наконец поднял глаза. — Я не спрашиваю зачем. Я спрашиваю: ты в следующий раз меня возьмёшь?

Астахов молчал ровно столько, сколько было нужно, чтобы стало ясно, что он молчит.

— Ага, — сказал Шмелёв.

Он пошёл вниз, потом остановился на площадке.

— Я подписал, — сказал он, не оборачиваясь. — Один раз. Не приучайся.

* * *

В первую субботу ноября Астахов приехал в парк днём.

Реконструкцию у родника остановили: после падения человека в неогороженную траншею подрядчику выкатили предписание, а заодно вылезло, что акт обследования лип подписан комиссией, в которой один человек не имел на это никакого права и, как выяснилось, вообще не значился в клубе, интересы которого якобы представлял. Директор парка ходил серый. Родник в чашу решили пока не брать.

Астахов принёс с собой саженец липы, купленный в питомнике на Волоцком шоссе, и лопату.

В роще было тихо, но это была уже другая тишина — обыкновенная. Из-за деревьев доносился гул с Кедрина. На ветке над тропой сидела ворона и смотрела, как он копает.

Заводь была мутная и мелкая, обычная лужа в корнях. Вода в ней не светилась и ничего в себе не показывала, кроме серого неба и его собственного лица.

Старуха не пришла.

Он посадил липу в трёх шагах от вывернутых корней, притоптал землю, вылил на неё воду из заводи и постоял немного.

— Прости, — сказал он вслух. — Опоздал на два месяца.

Потом он собрался уходить и на обратном пути, у поворота тропы, остановился.

На стволе крайней липы, на высоте человеческого роста, была метка.

Три косые насечки, короткие, одинаковые, сделанные не ножом, а чем-то узким и очень острым. Кора вокруг них не затянулась, срез был белый и свежий.

Астахов достал телефон и сфотографировал.

На снимке была кора.

Только кора.

Вечером он снова спустился в подвал на Тополиной.

Он искал в тетрадях слово «тавро» и нашёл его в четвёртой, за девяносто шестой год, рукой деда:

«Тавро ставят не для нас. Тавро ставят для своих, чтобы знали, что место посчитано и работа сделана. Три насечки — значит, взяли одного. Если увидишь свежее — считай, что где-то рядом только что стало на одного видящего меньше, и не ищи, кто. Ищи, кто следующий.»

Астахов закрыл тетрадь, поднялся, запер дверцу, придвинул стеллаж и вышел из дома.

Было около одиннадцати. Улица спала, где-то топили, пахло дымом.

Он дошёл до калитки, взялся за щеколду и остановился.

На столбе калитки, на высоте человеческого роста, белели три косые насечки.

Совсем свежие. Смола ещё не выступила.

Книга 2. Холодные комнаты.
Глава 6. Иней с той стороны

Дверь в двадцать седьмую квартиру открывали в семь утра, и открывали долго, потому что слесарь из управляющей компании приехал без болгарки, а замок был поставлен в те годы, когда замки ставили навсегда.

— Да не суетись ты, — сказал участковый Радченко, притопывая. — Он никуда не денется.

— А если денется?

— Тогда я напишу рапорт, что он денулся.

Слесарь наконец справился, дверь пошла — и оба отступили на шаг.

Из квартиры потянуло холодом.

Не сквозняком. Холодом, ровным и плотным, как из открытого морозильника: за порогом воздух был другой, и он медленно оседал в подъезд, и на площадке сразу запотели перила.

— Ничего себе форточка, — сказал слесарь.

Форточки были закрыты. Радченко проверил все три и все три оказались не просто закрыты — заклеены на зиму бумажной лентой, аккуратно, ещё в октябре, и лента была целая.

На кухне, между столом и батареей, лежал мужчина.

Батарея была горячая. Радченко потрогал её костяшками, отдёрнул руку и потом почему-то трогал ещё раз, будто не поверил.

Стекло в кухонном окне изнутри заросло инеем. Не по краям, как бывает в старых домах, — сплошь, до самой рамы, толстым белым ворсом, и на этом инее чётко отпечаталась ладонь.

Ладонь была маленькая. Меньше, чем у лежавшего.

Радченко постоял, посмотрел на неё и достал телефон.

— Тимофеич, — сказал он дежурному. — Мебельщиков, пять, квартира двадцать семь. Мужчина, труп. — Он помолчал. — Ты сыщиков вызывай, я тебе по телефону не объясню.

Астахов приехал в восемь двадцать, и это был первый по-настоящему зимний день: за ночь навалило сантиметров пятнадцать, дворы стояли невычищенные, и на Мебельщиков он бросил машину поперёк тротуара, потому что во двор было не заехать.

Дом номер пять был пятиэтажный, кирпичный, пятьдесят какого-то года, с осыпающимися балконами и с объявлением у подъезда: «Собрание собственников. Расселение. Явка обязательна». Объявление висело с сентября и уже выгорело.

В подъезде было теплее, чем на улице, но на площадке третьего этажа пар шёл изо рта.

— Ну наконец-то, — сказал Гринько. Он стоял в дверях в куртке поверх халата, и очки у него были мутные. — Астахов, я вас предупреждаю сразу: я сейчас скажу вещь, а вы не будете задавать глупых вопросов.

— Договорились.

— Он замёрз.

Астахов вошёл в кухню и остановился.

Мужчина лежал на боку, лицом к батарее. Куртки на нём не было; не было и свитера — свитер лежал в двух шагах, у холодильника, брошенный, и рядом валялись домашние тапки. Мужчина был в футболке и джинсах, босиком.

— Термометр на окне видите? — спросил Гринько. — Комнатный. Плюс двадцать четыре.

— Сейчас?

— Сейчас. Я его первым делом посмотрел, потому что не поверил своим рукам. В квартире тепло, Астахов. Отопление работает, батареи горячие, стояк общий, во всём подъезде плюс двадцать с чем-то. А он замёрз.

Астахов присел на корточки. Не трогая, посмотрел на руки лежавшего, на лицо, на голые ступни.

— Вы уверены?

— Я похож на человека, который в этом ошибается? — Гринько снял очки и стал их протирать, и Астахов впервые за год увидел, что у него дрожат пальцы. — Розовые пятна на коже. Поза. И вот это, — он показал на свитер, — это называется парадоксальное раздевание. Человек, который умирает от холода, в какой-то момент начинает чувствовать жар и снимает с себя всё. Это классика, это в учебнике. Я такое видел четыре раза за тридцать лет, и все четыре раза — в поле, в феврале, у людей, которых нашли в сугробе.

— А тут плюс двадцать четыре.

— А тут плюс двадцать четыре, — сказал Гринько.

Лида Ковач снимала окно. Она сняла иней целиком, потом отпечаток ладони отдельно, потом с линейкой.

— Миш, — позвала она. — Иди сюда.

Астахов подошёл.

— Смотри. Иней с внутренней стороны. Изнутри квартиры. — Лида провела пальцем в сантиметре от стекла. — Значит, влага была здесь, в комнате, и вымерзла на стекле. Значит, холод шёл отсюда, а не с улицы.

— А ладонь?

— А ладонь я тебе объяснить не могу. — Она помолчала. — Она без папиллярного узора. Совсем гладкая. Как будто прижали варежку. Только варежка бы дала ворс, а тут ничего.

Астахов смотрел на белый отпечаток и думал, что маленькая ладонь на стекле — это самая обыкновенная в мире вещь, если в квартире живёт ребёнок.

— Радченко.

— Я.

— Кто здесь прописан?

— Мельник Зоя Петровна, тысяча девятьсот тридцать восьмого года, — сказал участковый, глядя в планшет. — Только вот какое дело, Михаил Сергеевич. Мельник Зоя Петровна умерла.

— Когда?

— В феврале прошлого года. — Радченко потыкал в экран. — Тут и умерла, в этой квартире. Я выезжал. Переохлаждение, бабушке восемьдесят четыре, у неё окно было открыто, форточку она не закрыла. Никаких вопросов не было.

Астахов очень медленно выпрямился.

— Она умерла от переохлаждения. В этой квартире.

— Ну да, — сказал Радченко. — Зимой. Февраль был холодный, помните? До минус тридцати доходило.

* * *

Мужчину звали Денис Кораблёв. Тридцать четыре года, слесарь-наладчик на комбинате «Северодольскмаш», разведён, снимал квартиру с апреля.

Снимал у племянника покойной Мельник, который жил в Ключах и в квартиру ни разу не заезжал, потому что, по его словам, «там нечего смотреть, там расселение».

Кораблёва хватились не сразу. Он не вышел в смену третьего декабря, и в бригаде решили, что запил; не вышел четвёртого, и мастер позвонил в отдел кадров; пятого позвонили бывшей жене, а шестого бывшая жена позвонила в полицию, и Радченко пошёл открывать дверь.

— Тело пролежало трое суток, — сказал Гринько в морге на Заводской. — В квартире, где двадцать четыре градуса. Астахов, вы понимаете, что должно было произойти с телом за трое суток при двадцати четырёх градусах?

— Понимаю.

— Ничего не произошло, — сказал Гринько. — Ровным счётом ничего. Такое бывает при минус пяти. Не при плюс двадцати четырёх.

Он сел и потёр лоб.

— Я напишу «общее переохлаждение организма». Я обязан. Все признаки есть, все до единого, я вам их по пунктам перечислю, если хотите.

— Не хочу.

— И правильно. — Гринько посмотрел на него исподлобья. — А теперь вопрос, майор. Как человек замерзает в тёплой комнате?

— Я не знаю.

— Вы не знаете, — согласился Гринько. — Но вы уже видели что-то похожее.

Астахов молчал.

В октябре, в этом же кабинете, между шкафом и календарём за позапрошлый год, Гринько сказал ему: приходите ко мне, если ещё раз увидите эту линию. Не в отдел приходите. Ко мне.

Линии на шее Кораблёва не было. Астахов проверил первым делом.

— Аркадий Львович. Что было в девяносто восьмом?

Гринько поднял голову.

— Вы запомнили.

— Я всё запоминаю.

Эксперт помолчал, поправил календарь, которому три года было всё равно, и сказал:

— Потом. Не сегодня. Идите работайте, у вас труп, а у меня их сегодня три, и два из них скучные.

В коридоре Зинаида Марковна пила чай и грелась о батарею всем корпусом.

— Михал Сергеич!

— Зинаида Марковна.

— Вы к нам зачастили.

— Работа такая.

— Работа, — вздохнула она. — Я вот тридцать лет тут сижу, и мне кажется, я всё видела. А сегодня привезли этого вашего, и я его в холодильник катить не стала.

Астахов остановился.

— Почему?

— А зачем? — сказала Зинаида Марковна и посмотрела на него поверх очков. — Он и так холоднее холодильника.

— Значит, так, — сказал Гурьев. — Что у нас есть?

Кабинет на третьем этаже был по-прежнему единственным тёплым помещением в управлении, и в нём по этому случаю всегда сидели все, кому надо и не надо.

— У нас есть труп с признаками переохлаждения в квартире с центральным отоплением, — сказал Астахов. — Дверь была заперта изнутри на два оборота, ключ в замке. Окна заклеены. Следов проникновения нет. Ценностей не тронуто. Телефон на зарядке, последняя активность — второе декабря, двадцать три сорок.

— Проверяли утечку газа?

— Проверяли. Плита электрическая, газа в доме нет с двухтысячного.

— Угарный?

— Печей нет, каминов нет, автосервиса под окнами нет.

— Холодильник? — вдруг спросил Шмелёв. — Ну, промышленный какой-нибудь. Азот. Я читал, был случай, у мужика в подвале...

— Костя.

— Я предлагаю варианты, — обиделся Шмелёв. — Меня для этого держат.

— Тебя держат, потому что ты дешевле, чем ставка, — сказал Гурьев. — Астахов. Мне через два часа звонить в главк. Что я им говорю?

— Скажите, что проверяем версию несчастного случая и опрашиваем окружение.

— А на самом деле?

Астахов положил на стол лист.

— На самом деле, Валерий Тимофеевич, я хочу поднять по этому адресу всё за шесть лет.

— Зачем?

— Затем, что предыдущая жительница этой квартиры умерла в феврале прошлого года. От переохлаждения. При открытой форточке. Вопросов не задавали, потому что ей было восемьдесят четыре и на улице стояло минус тридцать.

Гурьев положил ручку.

— Ты хочешь сказать, что в одной квартире дважды?

— Я хочу проверить, — сказал Астахов, — не дважды ли в одном доме.

Дом на Мебельщиков, пять, обходили в тот же день, вчетвером: Астахов, Шмелёв, Радченко и стажёр Витя, которого дали «для галочки» и который в первой же квартире умудрился наступить на кота.

Шестьдесят квартир. Заселено сорок одна.

Дом был не просто старый — дом был доживающий. Расселение обещали третий год, две квартиры стояли с заваренными дверями, в четвёртом подъезде на площадке первого этажа сложили в углу чей-то диван и уже не убирали.

— Мужики, вы по холоду? — спросила женщина из шестнадцатой, не снимая цепочку. — Так я в управляющую четыре раза писала.

— По какому холоду?

— По нашему. — Цепочка звякнула, дверь открылась шире. — У нас, знаете, дом такой: в одной квартире печёт, в другой стынет. Вот у Ковалёвых на втором — сорок градусов, они форточку круглый год держат. А у меня в спальне стенка ледяная. Прямо мокрая изнутри.

— С какого года?

— Да всегда. — Она подумала. — Хотя нет. Раньше просто прохладно было. А последние лет пять — как в погребе.

Астахов записал: «Пять лет».

В двадцать пятой, через стенку от Кораблёва, жила Зинаида Егоровна Сотник, восьмидесяти одного года, и у Зинаиды Егоровны было натоплено так, что запотели очки у стажёра Вити.

— Проходите, проходите, — сказала она. — Только не разувайтесь, у меня полы холодные.

Полы были горячие.

Она усадила их за стол, поставила вазочку с сушками и рассказала про Дениса всё, что знала: тихий, вежливый, здоровался, один раз чинил ей смеситель и денег не взял.

— А про Зою Петровну расскажете?

Зинаида Егоровна перестала улыбаться.

— Зоеньку я двадцать лет знала, — сказала она. — Мы с ней в один год сюда въехали. Она умерла, а я вот сижу.

— Вы её видели перед этим?

— Видела. За два дня. — Старуха разгладила скатерть. — Она мне сказала: Зина, у меня в квартире зима. Я говорю: закрой форточку. А она: я закрыла, а зима не уходит.

Шмелёв поднял голову от блокнота.

— Так и сказала? «Зима не уходит»?

— Так и сказала.

— А ещё что говорила?

— Что деньги потеряла, — сказала Зинаида Егоровна. — Она их всё искала. Не пенсию, вы не подумайте. Копеечку какую-то старую, медную. Говорит: была под порогом, а теперь нету. Я ей: Зоя, тебе восемьдесят четыре, ты и меня забываешь.

Астахов не поднял головы от блокнота.

— Копеечку под порогом.

— Ну, это она чудила. — Старуха махнула рукой. — Она много чудила под конец. То зеркала завесит, то воду в тазу у двери держит.

В коридоре, уже прощаясь, Астахов задержался.

Порог у Зинаиды Егоровны был старый, деревянный, разбухший, и одна половица у самой двери сидела неровно.

— Зинаида Егоровна. Можно?

Он присел и поддел половицу ключом.

Под ней, в слое сухой пыли, лежала монета.

Медная, потемневшая до черноты, размером с пятак, старая — не советская. С одного края у неё была проточина, как будто кто-то долго тёр её о камень в одном и том же месте.

Монета была холодная. Настолько холодная, что Астахов, взяв её голыми пальцами, тут же переложил в другую руку.

— Ой, — сказала Зинаида Егоровна. — А это откуда?

— Не знаете?

— Первый раз вижу.

— Кто у вас бывает в квартире?

— Да кто у меня бывает. — Она стала считать. — Сын из Ключей, раз в месяц. Слесарь приходил в сентябре. Ну и Тамарочка.

— Тамарочка?

— Из социальной службы. — Старуха улыбнулась, и улыбка была тёплая, настоящая. — Она нам продукты носит, кто один живёт. Дай ей бог здоровья, она у нас в доме половину подъезда обслуживает. И Зоеньке носила, двенадцать лет.

Астахов положил монету в пакет для вещдоков, и Лида потом записала её как «предмет из белого металла с признаками окисления, назначение не установлено».

Он вышел на улицу последним.

У подъезда, отряхивая с плеч снег, стоял человек в хорошем пальто и говорил в телефон:

— Да не будет там никакого расселения до весны. Слушай меня: пока они собрание не проведут... Да мне-то что. Мне бы четыре квартиры добрать, и я из этой ямы выхожу.

Он увидел Астахова, договорил уже тише и убрал телефон.

— Бортко, — представился он сам, без просьбы. — Валентин Бортко, я тут по недвижимости работаю. Вы из полиции?

— Из полиции.

— Про Кораблёва? — Бортко покачал головой. — Слышал. Молодой мужик. Вы вот что: вы там про дом поспрашивайте. Мне в этом доме за пять лет три сделки развалились. Люди заходят посмотреть и выходят через минуту.

— Почему?

— Говорят, холодно, — сказал Бортко. — А я вам как профессионал скажу: не холодно. Я там сам зимой по три часа сижу. Просто дом мёртвый. Это чувствуется.

Глава 7. Шесть зим

Справку Шмелёв делал два дня и принёс её с таким лицом, с каким приносят счёт за ремонт.

— Значит, так, — сказал он, расчищая локтем стол. — Мебельщиков, пять. Шесть лет. Я поднял всё: скорую, участковых, ЗАГС, наши отказные. Готов?

— Готов.

— Не готов. — Шмелёв разложил листы веером. — За шесть лет по этому адресу умерло девятнадцать человек. Дом старый, жильцы старые, это норма, я сравнил с соседними — там примерно столько же. Но.

Он вытащил четыре листа и положил отдельно.

— Из девятнадцати — пять зимних. И вот эти пять я тебе сейчас прочитаю.

Астахов слушал, не перебивая.

— Февраль, шесть лет назад. Гуменюк Павел Тарасович, семьдесят девять, квартира одиннадцать. Найден дома. «Переохлаждение», окно было приоткрыто.

Январь, четыре года назад. Ярош Лидия Михайловна, восемьдесят шесть, квартира сорок. «Острая сердечная недостаточность», но фельдшер в карте написал: «в квартире выраженно холодно, температура не измерялась».

Декабрь, три года назад. Козинец Раиса Фёдоровна, восемьдесят восемь, квартира три. «Переохлаждение».

Февраль прошлого года. Мельник Зоя Петровна, восемьдесят четыре, квартира двадцать семь. «Переохлаждение».

И теперь Кораблёв Денис Игоревич, тридцать четыре, та же двадцать седьмая.

Шмелёв положил последний лист.

— Четыре старика и один молодой, — сказал он. — За шесть лет.

— Что общего у стариков?

— Вот тут начинается интересное. — Шмелёв достал ещё пачку. — Все четверо жили одни. Ни у кого не было в квартире прописанных родственников. Все четверо были собственниками, не наниматели. И все четыре квартиры в течение полугода после смерти были проданы.

— Кому?

— По-разному. Разные покупатели, разные конторы, ни одного повтора. — Шмелёв ткнул пальцем. — Но три из четырёх сделок сопровождал один и тот же агент. Угадаешь?

— Бортко.

— Бортко Валентин Юрьевич, — кивнул Шмелёв. — Индивидуальный предприниматель, работает по городу двенадцать лет, две жалобы в прокуратуру, обе прекращены.

Астахов подвинул к себе листы и перечитал их сам, медленно.

— А четвёртая?

— Что четвёртая?

— Ты сказал: три из четырёх сделок вёл Бортко. Четвёртая чья?

Шмелёв полистал.

— Козинец, квартира три. Тут вообще без агента. Наследство по завещанию. Завещание оформлено за четыре месяца до смерти, у нотариуса Пахомовой, всё чисто.

— Кому завещание?

— Дальней родственнице. — Шмелёв прищурился на строчку. — Некая Сотник Тамара Ильинична, племянница по мужу.

Астахов поднял голову.

— Как?

— Сотник Тамара Ильинична. А что?

— В двадцать пятой квартире живёт Сотник Зинаида Егоровна.

Шмелёв посмотрел на него, потом на бумагу, потом снова на него.

— Однофамильцы, — сказал он. — Ну мало ли. Северодольск маленький, Сотников тут как собак.

— Проверь.

— Проверю. — Шмелёв записал и, не поднимая головы, добавил: — Мишань, только ты учти: у нас пока не убийство. У нас пока пять естественных смертей и один необъяснимый труп. Гурьев тебе на это скажет: старики зимой умирают, майор, такова жизнь.

— Гурьев мне это уже сказал.

— И?

— И дал неделю.

Валентин Юрьевич Бортко пришёл сам, без повестки, на следующее утро, и с порога положил на стол папку.

— Тут всё, — сказал он. — Договоры, выписки, платёжки. Я знаю, как это выглядит. Три квартиры в одном доме за шесть лет — конечно, вы придёте. Я бы тоже пришёл.

Он сел, снял хорошее пальто и остался в хорошем свитере.

— Валентин Юрьевич, — сказал Астахов. — Как вы узнавали, что квартира освободилась?

— Из объявлений, — сказал Бортко. — Наследники сами вывешивают. Я вам больше скажу: я в этом доме вообще не хотел работать. Он неликвидный. Расселение обещают, а сроков нет; берёшь дёшево, а продать не можешь.

— И всё-таки взяли три.

— И всё-таки взял три, и на двух прогорел. — Он развёл руками. — У меня сейчас две квартиры висят там мёртвым грузом, я за них коммуналку плачу. Хотите, покажу квитанции? Я их и вожу с собой, я на них смотрю по вечерам, чтобы не забывать, какой я умный.

Шмелёв, сидевший у окна, хмыкнул.

— А давление на жильцов? — спросил Астахов.

Бортко помолчал.

— Было, — сказал он. — Не то, о чём вы думаете. Я хожу и уговариваю. Я звоню. Я оставляю визитки в дверях. Один раз я старушке из сорок первой три месяца носил творог, потому что она сказала, что подумает. Она подумала и не продала. Творог я ей носить перестал, и вот это, наверное, единственное, за что мне стыдно.

— Где вы были со второго на третье декабря?

— В Ключах, — сказал Бортко без паузы. — С двадцать девятого ноября по пятое декабря. Показывал участки, там у меня три клиента, гостиница «Сосны», можете проверить по карте, я картой платил.

Проверили. Совпало.

Он уже одевался, когда Астахов спросил:

— Валентин Юрьевич. Вы сказали в прошлый раз: дом мёртвый, это чувствуется. Что вы имели в виду?

Бортко застегнул пальто, помолчал, и лицо у него стало другое — не деловое.

— Я вам скажу, а вы не пишите, — попросил он. — Я в этом доме показывал квартиру в позапрошлом январе. Пришли супруги, молодые, с ребёнком. Ходят, смотрят, вроде нравится. И вдруг девочка — ей года четыре — подходит к окну и говорит: мама, а тут тётя стояла.

— И?

— И всё. — Бортко пожал плечами. — Они ушли. А я потом ещё полчаса там был, один. И знаете, что я вам скажу? Я стоял у того же окна и у меня руки замёрзли до боли. В пальто. В квартире с работающей батареей.

— Вы про это кому-нибудь рассказывали?

— Кому? — Бортко усмехнулся. — Я риелтор. Мне за такие рассказы клиентов не дадут.

* * *

Тамару Ильиничну Сотник Астахов нашёл в четверг, в отделении социального обслуживания на Полевой, среди картонных коробок с гречкой и стопок ведомостей.

Ей было около пятидесяти. Полная, круглолицая, с той особой уютной осанкой, которая бывает у людей, привыкших наклоняться к чужой постели. На столе у неё стоял термос и две кружки.

— Ой, садитесь. — Она подвинула стул. — Чаю?

— Спасибо, нет.

— А я выпью, если позволите. Я с восьми на ногах. — Она налила и обхватила кружку обеими ладонями, и Астахов машинально отметил, что руки у неё красные, обветренные, как у человека, который много бывает на улице. — Вы по Денису?

— По Денису.

— Господи, какая нелепость. — Тамара Ильинична вздохнула. — Молодой ведь. Я его знала немножко, он у Зоеньки квартиру снимал.

— Вы носили продукты Зое Петровне Мельник?

— Двенадцать лет. — Она сказала это спокойно, не хвастаясь. — Она у меня была самая давняя. Я к ней ещё в девяносто девятом ходила, когда только пришла в службу.

— Скольких вы обслуживаете сейчас?

— Двадцать два человека. — Она отставила кружку и полезла в ящик. — Вот, если хотите, список. Мне скрывать нечего, у нас всё под роспись: пришла, отдала, расписалась.

Астахов посмотрел список.

Мебельщиков, пять — девять фамилий. Из них шесть — одинокие собственники.

— Тамара Ильинична. У вас есть ключи от квартир?

— От семи, — сказала она. — Кто сам не встаёт, тот отдаёт ключ. Всё оформлено, есть заявление, есть журнал выдачи. Хотите, покажу?

— Покажите.

Она показала. Журнал был в порядке, заявления были на месте, подписи стояли.

— А от квартиры Козинец Раисы Фёдоровны у вас был ключ?

Тамара Ильинична не изменилась в лице. Совсем.

— Был, — сказала она. — Раиса Фёдоровна мне тётка по мужу. Я к ней и по службе ходила, и так.

— Она оставила вам квартиру.

— Оставила. — Она посмотрела Астахову в глаза. — Я знаю, как это выглядит, вы не первый спрашиваете. Мне тогда участковый душу вынул. Только вы поймите: у неё никого не было. Совсем никого. Она мне сама сказала: Тома, я не хочу, чтобы после меня государство квартиру забрало и там чужие жили. Я ей: тётя Рая, не надо. Она: надо.

— Вы её продали?

— Продала, — сказала Тамара Ильинична. — Через год. Я на эти деньги сыну операцию сделала, у него позвоночник. Вот, если хотите, справки.

Справки были. Астахов посмотрел на них и почувствовал то неприятное, знакомое, что бывает, когда человек предъявляет тебе своё самое больное место и оно оказывается настоящим.

— И вот ещё что, Тамара Ильинична. Вопрос покажется странным.

— Ничего, я привычная.

— Вам не холодно в этом доме?

Она засмеялась — просто, по-домашнему.

— Мне-то? Мне везде тепло. Я, миленький, с Севера, я в Заполярье двадцать лет прожила. У меня в квартире зимой окно нараспашку, соседи ругаются.

Уже в дверях, застёгивая куртку, Астахов оглянулся.

Тамара Ильинична всё так же сидела, обхватив кружку ладонями, и держала её у самого лица, и пар от чая шёл в её сторону, и она дышала этим паром так, как дышат замёрзшие.

* * *

Девятого декабря, в семь утра, дежурный передал вызов на Мебельщиков, пять, квартира двадцать пять.

Астахов приехал раньше опергруппы и дважды не попал ключом в замок зажигания, когда парковался.

Дверь в двадцать пятую была приоткрыта.

Из квартиры тянуло холодом.

Зинаида Егоровна Сотник лежала на полу в коридоре, ногами к двери, будто шла открывать. На ней была ночная рубашка и один тапок. Второй тапок лежал у порога кухни.

Батареи в квартире были горячие. На кухонном окне стоял иней.

Астахов постоял в дверях, не входя, ровно столько, сколько нужно, чтобы взять себя в руки, и понял, что этого времени не хватит.

Он присел у порога и поддел половицу.

Пыль. Пустое место в пыли — прямоугольный след, чистый, без единой пылинки, размером с пятак.

Монету он забрал сам, четыре дня назад, и она лежала в сейфе у Лиды под номером в описи.

— Михаил Сергеевич? — сказал за спиной Радченко. — Вы чего в коридоре сидите?

Астахов встал.

— Радченко. Кто последний к ней заходил?

Участковый уже листал планшет — он всегда всё листал первым, за это его и держали.

— Соцработник, — сказал он. — Восьмого числа, в шестнадцать десять. Роспись есть, я в подъезде камеру смотрел, она в шестнадцать ноль пять зашла, в шестнадцать двадцать вышла. Пятнадцать минут.

— С чем зашла?

— С пакетом. Крупа, хлеб, кефир. — Радченко пожал плечами. — Она всегда с пакетом.

— А вышла с чем?

Радченко открыл рот, закрыл и полез отматывать запись.

— С пустыми руками, — сказал он через минуту. — Вышла с пустыми руками.

— Пакет?

— Пакет, видимо, там оставила. — Участковый посмотрел на Астахова. — А что не так?

Астахов не ответил.

Он смотрел в квартиру, где на полу лежала женщина, поившая его чаем с сушками четыре дня назад, и думал не про пакет.

Он думал про то, что забрал из-под её порога монету — единственное, что там лежало, — и через четыре дня она умерла.

Глава 8. Зимняя деньга

— Астахов, — сказал Гурьев, — я тебя очень прошу. Скажи мне слово «теплотрасса».

— Валерий Тимофеевич.

— Скажи. Одно слово. Мне больше ничего не надо.

Он держал в руке свежий «Северодольский вестник», и на второй полосе стояло: «Дом, в котором мёрзнут. Два трупа за неделю на Мебельщиков». Подпись: В. Кисляк.

— Она уже была в доме, — сказал Гурьев. — Она обошла четыре квартиры и записала всех, кто жалуется на холод. Она пишет, что дом на балансе у управляющей компании, у которой шесть предписаний, и что жильцы четыре года писали в администрацию. Ты понимаешь, куда это едет?

— В комиссию по ЖКХ.

— В комиссию по ЖКХ, — кивнул Гурьев. — И меня это устраивает, потому что комиссия по ЖКХ — это не серия. Мне сегодня из главка звонили и спросили: у вас там что, второй Заречный парк? Астахов, у меня в октябре был маньяк в парке, теперь у меня дом, где люди мёрзнут насмерть при плюс двадцати четырёх. Я двадцать лет служу, и у меня за двадцать лет такого набора не было.

— Я не могу дать вам теплотрассу, — сказал Астахов. — В доме нет неисправностей отопления. Температура в норме во всех обследованных квартирах, включая обе, где были трупы. Замеры делали при мне, дважды, разными приборами.

— Тогда дай мне версию, которую я могу произнести вслух.

Астахов положил на стол лист.

— Мебельщиков, пять. Шесть лет. Пять смертей зимой, четыре из них — одинокие собственники квартир. Все квартиры после смерти перешли к третьим лицам: три продажи через агента Бортко, одна — по завещанию к Сотник Тамаре Ильиничне, сотруднику социальной службы, которая обслуживает в этом доме девять человек и имеет ключи от семи квартир.

Гурьев читал молча.

— Дальше, — сказал он.

— Девятого декабря умирает Сотник Зинаида Егоровна, двадцать пятая квартира. Восемьдесят один год, одинокая собственница. Последней в квартире была та же Сотник Тамара Ильинична — восьмого декабря, шестнадцать ноль пять, зафиксировано камерой в подъезде.

— Однофамилицы?

— Нет. — Астахов положил второй лист. — Тамара Ильинична одиннадцать лет была замужем за Сотником Андреем Витальевичем, сыном погибшей. Он умер восемь лет назад. У них сын, двадцать три года, инвалид второй группы.

Гурьев поднял глаза.

— Наследник?

— По праву представления — да, наравне со вторым сыном.

Гурьев положил лист и потёр лицо ладонями.

— Астахов, — сказал он наконец. — Вот теперь я тебя слушаю по-человечески. Что она с ними делает?

И это был единственный вопрос, на который Астахов не мог ответить.

— Не знаю, — сказал он.

— Как — не знаешь? Ты мне их принёс, ты мне мотив нарисовал, у тебя доступ, у тебя корысть, у тебя даже родство. Способ где?

— Способа нет.

— Отравление?

— Гринько проверил всё, что можно проверить. Чисто.

— Она их морозила? Кондиционер? Окно открывала, потом закрывала?

— Валерий Тимофеевич, чтобы человек умер от переохлаждения, нужно много часов при низкой температуре. Восемь, десять, двенадцать. Соседи снизу и сверху ничего не заметили. В обеих квартирах отопление работало всё время. Никаких приборов не найдено. Никаких следов проветривания. Ничего.

Гурьев долго молчал.

— Тогда у меня для тебя плохая новость, — сказал он. — Без способа ты её не возьмёшь. И ты это знаешь лучше меня.

— Знаю.

— Иди ищи способ. — Гурьев отвернулся к окну. — И знаешь что, Астахов? Ты в октябре так же стоял. И тогда у тебя тоже не было способа, а потом подозреваемый упал в траншею.

Пауза была короткая, но она была.

— Это к чему? — спросил Астахов.

— Это к тому, что я не хочу второй раз подписывать такую же проверку, — сказал Гурьев, не оборачиваясь. — Иди.

* * *

В подвал на Тополиной он приехал в тот же вечер и просидел там до трёх ночи.

За два месяца подвал перестал быть чужим. Астахов вкрутил четвёртую лампу, притащил из дома старое кресло, а на ящике с железом теперь лежал его блокнот и лежала пачка выписанных карточек — он завёл на бестиарий картотеку, потому что искать в «Книге родов и обличий» было невозможно: она шла не по алфавиту, а по какой-то родовой логике, которую он всё ещё не понимал.

«Студёную» он нашёл на семьдесят четвёртом листе.

«СТУДЁНАЯ (подполье, старое русло, остывшая печь).

Обличье: девочка лет семи, реже — женщина в белом; на стекле оставляет ладонь без узора.

Признаки места: иней изнутри; тепло в трубах есть, а в комнате его нет; собака не идёт в дверь; в квартире тише, чем должно быть.

Повадка: берёт у спящего тепло малой мерой, и человек наутро зябнет и пьёт горячее. Ходит там, где под домом идёт старая вода. Дальше своей воды не уходит.

Особо: студёная не выбирает и не гневается. Она идёт туда, где ей не положено откупа.

Об откупе: деньга медная, потёртая о камень с одного края, кладётся под порог хозяином дома. Пока деньга лежит, студёная берёт деньгу и уходит. Кто вынет деньгу из чужого порога, тот и убил хозяина, а не студёная.

Приговор: БЕЗВРЕДНА при откупе. Не истреблять. Держать в отдалении живым огнём: свечой, лучиной, спичкой. Электрический свет её не берёт.»

Астахов дочитал и долго сидел, не двигаясь.

Потом он встал, подошёл к стеллажу, где стояли жестяные коробки из-под чая, и в третьей нашёл то, что искал.

Монеты. Десятка полтора. Медные, чёрные, все со сточенным краем.

Под ними лежала записка рукой деда, на четвертушке бумаги:

«Деньги льют не у нас и никогда не лили. Кто умеет их точить и класть — тот учился, и учился не в этом городе. Если увидишь, что деньги вынимают, — ищи не тварь, ищи руку.»

Астахов положил записку в карман, забрал три монеты и поднялся наверх.

Он сидел в машине во дворе, не заводя, и считал.

Зоя Петровна Мельник сказала соседке: «Копеечка была под порогом, а теперь нету». Через два дня она умерла.

Зинаида Егоровна Сотник не знала про монету у себя под порогом ничего — «первый раз вижу». Значит, положил кто-то другой; вероятно, тот же, кто клал их всю жизнь по этому дому, — кто-то из стариков, знавших обычай. Может быть, сама Зоя Петровна, которая ходила к соседке в гости двадцать лет.

Монету из-под порога Зинаиды Егоровны вынул Астахов.

Четвёртого декабря, в присутствии двух свидетелей, с занесением в опись, номер сорок один.

Девятого декабря Зинаида Егоровна умерла.

Он сидел в холодной машине и позволил себе ровно две минуты.

Потом завёл двигатель и поехал на Мебельщиков.

В квартиру двадцать семь он вошёл в половине первого ночи, своим ключом, оставленным следствием.

Печать он снял и потом наклеил обратно — это было нарушение, о котором никто не узнал, и оно было далеко не первым за эту осень.

В квартире стоял тот особый запах пустого жилья, где неделю не открывали окон. Мебель Зои Петровны, ковёр на стене, сервант с чашками. Вещей Кораблёва почти не было: сумка, чайник, зарядка, стопка книг про рыбалку.

Астахов поставил у порога свечу.

Свечи он купил в супермаркете на Кедрина, в отделе «Всё для дома», четыре штуки по двадцать девять рублей, и продавщица спросила, не отключают ли у них свет.

Он зажёг одну, сел на табурет посреди кухни и стал ждать.

Батарея под окном была горячая. Он специально положил на неё ладонь и подержал.

Через сорок минут стало холодно.

Не постепенно. Просто в какой-то момент Астахов понял, что видит собственное дыхание, и что руки, лежащие на коленях, уже не чувствуют ткани, и что часы на плите показывают ноль пятьдесят три, а он не помнит, как прошло полчаса.

Иней пополз по стеклу изнутри — быстро, толчками, как растёт трещина.

— Я тебя вижу, — сказал Астахов.

Она стояла у окна.

Девочка лет семи, в чём-то длинном и светлом, босая, с волосами, которые лежали на плечах слишком ровно, будто их приклеили. Лица он потом вспомнить не смог — только что оно было, и что оно было спокойное, и что оно ничего у него не просило.

Она посмотрела на свечу и отступила на полшага.

— Ты здесь живёшь, — сказал Астахов.

Она не ответила. Она вообще, кажется, не умела отвечать.

Она подняла руку и приложила ладонь к стеклу с внутренней стороны, и на инее остался отпечаток — маленький, гладкий, без узора.

Потом она повернулась к порогу и посмотрела вниз, на то место, где половица.

Смотрела долго.

— Там пусто, — сказал Астахов. — Я знаю.

Свеча качнулась и почти легла, и Астахов прикрыл её ладонью, и в этот момент холод шагнул ближе — он именно шагнул, как шагает человек, и Астахову захотелось лечь на пол, потому что на полу, наверное, теплее.

Он вытащил из кармана медную деньгу и положил её на подоконник.

Девочка посмотрела на монету.

Потом на него.

Потом — и это было хуже всего — она чуть наклонила голову набок, точно так же, как наклоняла её старуха у родника в Заречной роще два месяца назад, и Астахов с холодной ясно-

стью понял, что все они делают этот жест одинаково и что это не совпадение, а что-то вроде общего языка, которого он не знает.

Монета исчезла с подоконника.

Он не увидел как. Иней на стекле начал таять — сверху вниз, полосами, — и по подоконнику побежала вода, и батарея, к которой он снова прижал ладонь, была горячая, и в кухне сразу стало душно, как бывает душно в натопленной квартире зимой.

Часы на плите показывали два семнадцать.

Астахов сидел на табурете, держа в руке потухшую свечу, и у него мелко тряслись плечи — от холода, сказал он себе, и почти в это поверил.

Он не спал в эту ночь.

Он ездил по городу до пяти утра, потом взял кофе на заправке на Кедрина, и заправщица, увидев его лицо, спросила, всё ли в порядке, и он сказал, что всё в порядке.

* * *

— Ты домой вообще заходил? — спросил Шмелёв вместо «здравствуй».

— Заходил.

— Ага. И побрился, я вижу, вчерашней бритвой. — Шмелёв подвинул ему стакан. — Пей. Я в этот раз даже не записал на тебя.

— Спасибо.

— Не благодари, у меня карта заблокирована, я взял у Радченко. — Шмелёв сел и хлопнул по папке. — Так. Я сделал, что ты просил, и мне это не нравится.

— Что именно?

— Всё. — Он раскрыл папку. — Журнал выдачи ключей социальной службы. Двадцать два подопечных у Сотник, семь ключей. Всё оформлено, всё под роспись, комар носа не подточит. Я поднял камеры в подъездах по всем пяти датам. Мебельщиков, пять — камера только в первом подъезде, поставили три года назад. По двум эпизодам из пяти она в кадре есть, накануне, во второй половине дня. По остальным трём — камеры не было или её не поставили.

— То есть в двух случаях она была накануне.

— И в обоих случаях у неё была законная причина: разнос продуктов по графику. — Шмелёв поднял палец. — И вот тут интересное. Я взял её ведомости за шесть лет. Она ходит по графику, вторник и пятница, как часы. И четыре раза за шесть лет она приходила вне графика.

Астахов поднял голову.

— Когда?

— За один-три дня до каждой смерти. — Шмелёв положил четыре листа. — Гуменюк — приход в среду, в графике четверг. Ярош — в понедельник. Козинец — в субботу, а она по субботам вообще не работает. Мельник — в четверг. И к Зинаиде Егоровне восьмого декабря — тоже вне графика, у неё стоял девятый.

— Причина указана?

— Указана. «По просьбе подопечного». Везде одинаково, одним почерком.

Шмелёв откинулся на стуле.

— Мишань, я двенадцать лет в розыске, и я тебе скажу как есть: это очень красивая схема и очень плохое дело. Присяжным ты покажешь, что тётка приходила к старикам чаще, чем обязана. Тётка на это ответит, что она добрая. И знаешь что? Она не соврёт. Я вчера был в её отделении. Я там два часа сидел. Её там любят.

— Я знаю.

— И у нас нет способа, — сказал Шмелёв. — Нет способа, нет орудия, нет следа. Прокурор нас выгонит и будет прав.

Астахов подвинул к себе список из двадцати двух фамилий.

— Костя. Смотри сюда. Одинокие собственники, без прописанных родственников. Кто остался?

Шмелёв провёл пальцем.

— На Мебельщиков — двое. Балаян Софья Аршаковна, семьдесят шесть, второй подъезд. И Пётр Игнатьевич Волох, восемьдесят три, четвёртый подъезд, квартира пятьдесят четыре. — Он поднял бровь. — А почему ты спрашиваешь про собственников?

— Потому что она наследует не у всех.

— Она вообще ни у кого не наследует, кроме тётки.

— Пока, — сказал Астахов.

Шмелёв посмотрел на него, потом молча взял телефон и позвонил в Росреестр, и они просидели на линии сорок минут, и на сорок первой Шмелёв сказал:

— Ну вот и приехали.

— Что?

— Волох Пётр Игнатьевич. Квартира пятьдесят четыре, Мебельщиков, пять. — Шмелёв читал с экрана. — Четырнадцатого ноября сего года у нотариуса Пахомовой оформлено завещание. Наследник — Сотник Тамара Ильинична.

В кабинете стало тихо.

— Три недели назад, — сказал Астахов.

— Три недели назад. — Шмелёв убрал телефон. — Мишань, я беру назад про прокурора. Прокурор нас выслушает.

Он собрал бумаги и вдруг сказал, не поднимая головы:

— Слушай. Пока не забыл. Я тут на прошлой неделе запросил кое-что не по этому делу.

— Что?

— Записи с камер Северного моста. За апрель.

Астахов очень медленно поставил стакан.

— Зачем?

— Затем, — сказал Шмелёв. — Ты в октябре мне не ответил на один вопрос, а я, знаешь, не привык, когда мне не отвечают. Я подумал: ладно, я сам посмотрю. Там всё равно материал закрыт, я имею право.

— И?

— И мне пришёл ответ. — Шмелёв достал из внутреннего кармана сложенный вчетверо лист и положил на стол. — Читай.

Астахов прочитал.

«На ваш запрос сообщаем, что видеоматериалы за указанный период уничтожены в связи с истечением срока хранения (30 суток). Дополнительно сообщаем, что резервное копирование по камерам № 4, 7, 9 в указанный период не производилось в связи с проведением работ.»

— Обычная бумага, — сказал Шмелёв. — Я такие сто раз получал.

— Обычная.

— Только я перед этим позвонил в подрядную организацию и спросил, что за работы. — Шмелёв смотрел на него в упор. — Мне ответили, что никаких работ в апреле по мосту не проводилось. Ни в апреле, ни в марте, ни в мае.

Астахов сложил лист и вернул его.

— Костя. Убери это.

— Почему?

— Потому что я тебя прошу.

— Это не ответ, — сказал Шмелёв.

— Другого у меня нет.

Шмелёв убрал лист в карман — медленно, без обиды, и это было хуже, чем если бы он хлопнул дверью.

— Знаешь, — сказал он, вставая, — я тут подумал: а ведь ты меня в октябре в парк не взял. И живой остался. — Он взял свою куртку. — А если бы не остался? Я бы, между прочим, до пенсии объяснял, почему напарник поехал один.

— Я знаю.

— Ничего ты не знаешь, — сказал Шмелёв беззлобно. — Пошли. Нам к Волоху надо, пока он живой.

Глава 9. Что помнит мать

Нина Егоровна Астахова жила на Полевой, в доме с аптекой на первом этаже, и открыла дверь раньше, чем сын успел позвонить второй раз.

— Я тебя из окна видела, — сказала она. — Ты машину криво поставил.

— Там снег.

— Там всегда снег. Разувайся.

Ей было шестьдесят два. Тридцать один год она проработала в городской библиотеке на Стеклова, из них восемнадцать — заведующей читальным залом, и это было видно по квартире: книги стояли не как у деда, вповалку, а по системе, и на подоконнике лежал карандаш.

Отца Астахов не помнил. Фамилия у них с Настей была материнская, дедова, и в детстве он этим гордился, не зная почему.

Они сели на кухне. Мать поставила чайник, достала варенье, спросила про работу, он ответил, что работа идёт, она спросила, ест ли он, он сказал, что ест.

Так они разговаривали восемь месяцев.

— Мам, — сказал Астахов. — Я был у деда в доме.

Чайник щёлкнул.

Нина Егоровна не обернулась. Она стояла спиной, у плиты, и Астахов смотрел, как у неё поднимаются и опускаются плечи — раз, второй.

— Ну, — сказала она. — Наконец-то.

— Ты знала.

— Я знала, что рано или поздно. — Она разлила чай, села напротив и посмотрела на него прямо. — Настя тебе ключ оставила?

— Оставила.

— Значит, она успела, — сказала мать, и лицо у неё дрогнуло только один раз. — Я боялась, что не успела.

Астахов положил на стол четвертушку бумаги — записку деда про деньги.

Мать взяла её, прочитала и вернула, не изменившись в лице.

— Мам.

— Что?

— Ты видишь?

Нина Егоровна долго молчала.

— Видела, — сказала она наконец. — До тридцати четырёх лет. Потом перестала.

— Как — перестала?

— Как перестают, — сказала она. — Отворачиваешься. Один раз, второй, десятый. Не смотришь в отражение, не смотришь в толпу, не смотришь на того, кто стоит слишком ровно. Года через три начинает получаться само. Через пять — уже не отличаешь: то ли нету никого, то ли ты не глядишь. — Она отпила чай. — Я двадцать восемь лет не смотрю, Миша. И я до сих пор не знаю, вылечилась я или ослепла.

— Почему?

— Потому что вас было двое, — сказала мать. — И потому что я осталась одна с двумя.

Астахов сидел, положив ладони на стол.

— Дед писал: «из всех троих она одна с головой». Кто третий?

— Пашка, — сказала Нина Егоровна. — Твой двоюродный. Сын дядь Вити. Ты его не помнишь, вы виделись, когда тебе было шесть. — Она поморщилась. — Он в другом городе. Он от этого всего ушёл дальше, чем я.

— Он тоже?

— Он — тоже. — Мать поставила чашку. — И давай мы про Пашку сейчас не будем. У меня к тебе просьба: спрашивай про что-нибудь одно. Я двадцать восемь лет молчала, я не могу вывалить это всё за один вечер.

— Хорошо, — сказал Астахов. — Тогда девяносто восьмой.

Нина Егоровна вздрогнула.

Это было очень заметно — на кухне, где горела одна лампа над столом, и где было тихо, и где мать держала чашку двумя руками.

— Почему девяносто восьмой?

— Потому что в девяносто восьмом эксперт, с которым я работаю, вскрывал утопленника из Ключей и не смог написать причину смерти. Потому что дедова двенадцатая тетрадь обрывается, и в ней вырваны две страницы. И потому что Настя за месяц до смерти спрашивала деда про тавро.

Мать поставила чашку.

Потом встала, вышла в комнату и вернулась с конвертом.

Конверт был обычный, почтовый, старый, с советским ещё гербом на клапане. Она положила его на стол и села.

— Вырвала я, — сказала она. — В ноябре, когда отца хоронили. Приехала, спустилась, нашла последнюю тетрадь и вырвала. Я тогда думала, что вы никогда туда не полезете.

Астахов открыл конверт.

Два листа в клетку, исписанные знакомым дедовым почерком, слегка косым к концу строки.

«14 февраля. Приходил человек. Не тварь — человек, лет сорока, в пальто, вежливый. Сел, снял шапку, попросил воды. Сказал: Егор Кузьмич, вы человек уважаемый и род у вас старый, поэтому с вами говорят, а не считают.

Предложил договор. Условия простые: мы не смотрим в их сторону, они не смотрят в нашу. Мы не учим детей, они не трогают детей. Он так и сказал — «не учите ваших, и наши к вашим не придут». Сказал, у них это называется «мировая по крови» и что она у них с нашим родом была уже дважды: при прадеде и при прапрадеде.

Я спросил: а если откажусь. Он сказал: тогда всё будет как обычно, и это будет не быстро.

Я взял неделю на подумать.

21 февраля. Согласился. Записываю честно, чтобы потом не выдумывать себе красивого: я согласился не из страха за себя. У меня Нинка с двумя маленькими.

Условие с их стороны одно: у кого глаза открылись — тот их закрывает сам. Не учить. Не давать книгу. Не водить в подвал. Вырастут — и в третьем поколении не будет никого, кто видит, и мировая станет вечной, потому что мириться будет не с кем.

Он ушёл. Воду не допил. В стакане к вечеру стояла наледь, хотя в доме топили.»

Астахов дочитал и положил лист.

Про наледь в стакане он перечитал дважды.

— Дед его нарушил, — сказал он.

— Дед его нарушил, — кивнула мать. — В прошлом году. Настя к нему приехала сама, он ей всё показал, и он даже мне не сказал. Я узнала в марте, случайно, по её вопросам.

— И что ты сделала?

— Я с ней поругалась, — сказала Нина Егоровна ровным голосом. — Двадцать девятого марта. Я ей сказала: закрой глаза и живи. Она мне сказала: мам, я не умею отворачиваться, я не ты. — Мать посмотрела в чашку. — Одиннадцатого апреля её не стало.

В кухне было очень тихо. За стеной у соседей работал телевизор.

— Мам.

— Не надо, — сказала она.

— Мам. Мне надо знать одно. Настя говорила про тавро у Северного моста. За месяц до.

— Говорила. И мне говорила.

— Она понимала, что это значит?

— Она понимала лучше меня. — Нина Егоровна подняла глаза, и у неё были совершенно сухие глаза, и от этого стало по-настоящему страшно. — Она мне сказала: мам, там кто-то уже посчитан, и если посчитан один, значит, ходят по списку. Я ей ответила, что она себя накручивает.

Астахов молчал.

— Теперь ты, — сказала мать. — Ты ведь тоже не умеешь отворачиваться, я по тебе вижу с апреля. Я думала — работа. Потом поняла — нет.

— Я умею смотреть в другую сторону, — сказал Астахов. — Я не умею считать, что там ничего нет.

— Это одно и то же, Миша.

— Нет, — сказал он. — Это разное. Дед выбрал не смотреть — и он всё равно всё записывал в тетради. Он просто перестал ходить.

Мать усмехнулась, впервые за вечер.

— Он был упрямый, — сказала она. — И ты упрямый. И Настя была упрямая. Вся семья такая, и посмотри, чем это кончается.

Она встала, отнесла чашки в раковину и там, стоя спиной, сказала:

— Забирай конверт. Только знай, что я тебе его отдаю не потому, что согласна. Я тебе его отдаю, потому что ты всё равно найдёшь, а так хоть я буду знать, что ты знаешь.

В прихожей, уже одетый, Астахов остановился.

— Мам. Последнее. Ты этого человека видела?

— Один раз, — сказала Нина Егоровна. — В феврале девяносто восьмого, из окна. Он от нас пошёл к автобусу.

— Опишешь?

Она посмотрела на него как на маленького.

— Миша, — сказала она. — Прошло двадцать восемь лет.

— Всё-таки.

— Мужчина в пальто, — сказала мать. — Лет сорока. Он шёл по снегу и не оставлял следов, и я тогда сказала себе, что это потому, что мело.

Гринько принял его в морге на Заводской в понедельник, в конце дня, когда там уже никого не было, кроме Зинаиды Марковны, которая мыла коридор и ворчала на всех, кто шёл по мокрому.

— Идите за мной, — сказал эксперт.

Они спустились в архив — узкий длинный подвал, где на стеллажах стояли коробки с наклейками по годам, и лампочка горела через одну.

— Девяносто восьмой, — сказал Гринько, ведя пальцем по коробкам. — Вот. Тридцать первое января.

Он снял папку, сдул с неё пыль совершенно не медицинским жестом и положил на стол.

— Мужчина, около сорока пяти лет, — сказал Гринько. — Обнаружен в Ключах, у воды, в четырёх метрах от берега, на льду. Не в проруби, заметьте. На льду. Личность не установлена. Документов не было, заявлений о пропаже не поступало, отпечатки ничего не дали.

— Что вы написали?

— Я написал: «общее переохлаждение организма». — Гринько раскрыл папку. — А теперь я вам покажу, чего я не написал.

Он вынул фотографию. Чёрно-белую, зернистую, снятую плёночным аппаратом.

Шея. Тонкая линия наискось, ровная, как проведённая карандашом и стёртая.

Астахов смотрел на неё, наверное, полминуты.

— И вот второе. — Гринько положил рядом второй снимок. — Кисть правой руки. Видите?

Мужчина умер, сжав кулак. В кулаке был предмет — плоский, круглый, и его сфотографировали отдельно, на белом листе, с линейкой.

Медная монета. Потёртая с одного края.

— Вы её описали? — спросил Астахов.

— Я её описал как «монета неустановленного образца, изъята». — Гринько снял очки. — А через два дня из вещдоков её забрали. По запросу. Запрос был устный, приходил человек в пальто, показал удостоверение, я его не запомнил, а расписку он оставил, и расписка потерялась. Я тогда был молодой и сильно этому радовался, потому что дело закрыли и меня перестали дёргать.

— Аркадий Львович, — сказал Астахов. — Почему вы мне это показываете?

Гринько долго молчал.

— Потому что в октябре у меня в холодильнике лежали двое с этой линией, — сказал он. — А теперь у меня в холодильнике двое, которые замёрзли в тёплых комнатах. И потому что мне шестьдесят три года, Астахов, и я тридцать один год пишу «установлено», и я не хочу уйти на пенсию, имея в архиве три коробки, о которых я молчал.

Он закрыл папку и подвинул её через стол.

— Возьмите. Копию я сделал. Оригинал вернётся на место, и никто ничего не заметит, потому что за двадцать восемь лет эту коробку никто не открывал.

Астахов взял.

— И вот что, — сказал Гринько уже у лестницы. — Я не спрашиваю вас, что вы знаете. Я не хочу этого знать, у меня внуки. Но если вам когда-нибудь понадобится, чтобы в заключении стояло честное «механизм не установлен» вместо удобной ерунды — вы приходите.

— Спасибо.

— Не благодарите, — сказал Гринько. — Я это делаю не для вас. Я это делаю, чтобы в бумагах было правдиво. У меня, знаете, других способов быть порядочным человеком за тридцать один год не нашлось.

Глава 10. Живой огонь

Пётр Игнатьевич Волох, восьмидесяти трёх лет, бывший машинист тепловоза, жил в квартире пятьдесят четыре и не собирался никуда переезжать.

— Вы мне тут расселение не сватайте, — сказал он, впуская их. — Мне восемьдесят три. Я тут сорок лет живу, у меня тут окно на восток.

— Мы не по расселению, Пётр Игнатьевич.

— А по чему?

Астахов сел, не снимая куртки.

— Пётр Игнатьевич, вы четырнадцатого ноября были у нотариуса Пахомовой?

Старик сразу подобрался.

— Был.

— Завещание оформляли?

— Оформлял. — Он посмотрел на них поочерёдно. — А что, нельзя?

— Можно. Кому?

— Тамаре, — сказал Волох. — Из социальной. А кому мне ещё? У меня жена в две тысячи девятом, сын в две тысячи шестнадцатом, внуков нет. Я лежал в ноябре с ногой, так она ко мне через день ходила. Через день, понимаете? Не по бумажке, не по графику. Она мне бельё меняла.

Шмелёв кашлянул.

— Пётр Игнатьевич, а идея чья была? Ваша или её?

— Моя, — твёрдо сказал старик.

— Точно?

— Ну... — Он задумался, и это была честная задумчивость человека, который добросовестно вспоминает. — Она мне рассказывала про свою тётку. Что тётка тоже одна была и что квартира чужим досталась бы. Я и подумал.

— Когда рассказывала?

— В ноябре. Как раз когда с ногой лежал.

Астахов встал и прошёлся по комнате.

Квартира была вылизанная, стариковская: скатерть, сервант, календарь с тепловозом, на подоконнике — герань в трёх горшках.

— Пётр Игнатьевич. У вас под порогом ничего не лежит?

Волох посмотрел на него очень внимательно.

— А вы откуда знаете? — спросил он.

— Значит, лежит.

— Лежала, — сказал старик. — Копейка старая. Мне её Зоя Петровна дала лет пятнадцать назад, когда я овдовел. Сказала: положи под порог и не трогай. Я спросил — зачем. Она сказала: дом старый, под ним вода, а тебе теперь одному спать.

— И где она сейчас?

— Да нету, — сказал Волох с досадой. — Я в ноябре как раз половицу менял, там сгнило всё. Мастера вызвал, он вскрыл, всё вымел, новую доску положил. Я потом хватился — где копейка? Он говорит: не было там ничего, мусор один.

Шмелёв записывал.

— Пётр Игнатьевич, а мастер откуда?

— Так Тамара и нашла, — сказал старик. — Я ж не хожу никуда. Она говорит: Пётр Игнатьич, у вас пол проваливается, давайте я мужичка приведу.

В комнате стало очень тихо.

— Вы после этого мёрзнуть не начали? — спросил Астахов.

Волох поёжился, и это движение было машинальным, и он сам его не заметил.

— Так декабрь же, — сказал он. — Все мёрзнут.

В квартире пятьдесят четыре Астахов остался один в ночь на семнадцатое декабря.

Волоха увезли к дальней родне в Ключи — сказали, что в квартире будут менять электрику, старик поворчал и уехал, взяв с них слово не трогать герань.

Шмелёв сидел в машине во дворе, и это была первая уступка Астахова за два месяца, и она далась ему тяжелее, чем он ожидал.

— Мишань, — сказал Шмелёв в рацию около полуночи. — Ты там живой?

— Живой.

— А чего свет не включаешь? Я снизу смотрю — у тебя окно тёмное.

— Так надо.

— Ага, — сказал Шмелёв. — Понял. Не понял, но понял.

Астахов сидел на табурете в коридоре, лицом к порогу.

Перед ним, на газете, лежали три предмета: свеча, коробок спичек и медная деньга из дедовой жестянки.

Он зажёг свечу в двенадцать сорок.

Холод пришёл в час пятнадцать.

Он пришёл так же, как в двадцать седьмой квартире, — не постепенно, а сразу: воздух стал плотный и белый на выдохе, и герань на подоконнике, которую Астахов машинально держал в поле зрения, покрылась по краям листьев мелкой белой каймой.

— Я тебя жду, — сказал Астахов.

Она вышла из кухни.

В этот раз он смотрел на неё дольше и увидел больше: что она не идёт, а как бы оказывается на полшага ближе, когда на неё не смотришь; что за ней по полу тянется тонкая полоса влаги, как от вытертой тряпки; что она босая и что пол под её ступнями белеет.

Она посмотрела на свечу и остановилась.

— Здесь нет откупа, — сказал Астахов. — Я знаю. Его вынули.

Он взял монету и положил её под порог — в щель у новой доски, которую в ноябре положил мастер, приведённый Тамарой Ильиничной.

Девочка не двинулась.

— Бери, — сказал Астахов.

Она наклонила голову набок.

И тогда — Астахов не готов был к этому и потом не смог себе объяснить, зачем сделал именно так, — он задул свечу.

Стало темно и очень холодно.

Он сидел в темноте, чувствуя, как немеют пальцы на руках, и как перестаёт слушаться лицо, и как приходит то самое спокойствие, про которое Гринько говорил «парадоксальное», и от которого хочется снять куртку.

— Я тебя не трону, — сказал он в темноту. — В книге написано «безвредна». Я пришёл не за тобой.

Тишина.

Потом что-то тихо звякнуло у порога — металл о дерево.

И холод отступил.

Астахов чиркнул спичкой. Руки не слушались, и он сломал три штуки, прежде чем справился.

В коридоре никого не было. Под порогом монеты не было тоже.

На стекле в комнате, на подоконнике за геранью, таял маленький отпечаток ладони без узора.

Часы показывали два ноль пять.

— Костя, — сказал он в рацию. — Как там?

— Тихо, — отозвался Шмелёв. — Слушай, у меня печка сдохла. Я реально тут дуба даю.

— Потерпи.

— Я терплю. Я, между прочим, единственный человек в отделе, который сидит ночью во дворе непонятно зачем и даже не спрашивает.

— Спросишь потом.

— Спрошу, — пообещал Шмелёв. — И знаешь что? Ты ответишь.

* * *

Тамара Ильинична Сотник пришла в восемь двадцать утра, с пакетом.

Она поднялась на четвёртый этаж, позвонила, подождала, позвонила ещё раз. Потом достала ключ.

Ключа от пятьдесят четвёртой у неё в журнале не значилось.

Дверь открылась, и она вошла, и в прихожей включила свет, и увидела Астахова, сидящего на табурете.

Она не вскрикнула. Она поставила пакет на тумбочку — аккуратно, чтобы не упало, — и сказала:

— Ой, а Пётр Игнатьевич где?

— В Ключах, — сказал Астахов. — У родни.

— Слава богу. — Она перевела дух совершенно натурально. — А то я звоню, звоню.

— Тамара Ильинична. Откуда у вас ключ?

— Так он же сам дал. — Она даже не запнулась. — В ноябре, когда с ногой лежал.

— В журнале ключ не проведён.

— Значит, забыла провести. — Она посмотрела ему в глаза. — Михаил Сергеевич, вы меня в чём-то подозреваете?

Астахов встал.

— В коридоре, под порогом, лежала монета, — сказал он. — Медная, старая, потёртая с одного края. Такие же лежали под порогом у Мельник Зои Петровны, у Сотник Зинаиды Егоровны, у Козинец Раисы Фёдоровны, у Ярош Лидии Михайловны и у Гуменюка Павла Тарасовича. И каждый раз незадолго до смерти монета пропадала.

Тамара Ильинична смотрела на него — спокойно, с тем же уютным, домашним выражением.

— Какие монеты, миленький? — сказала она.

— Вы знаете какие.

— Я вас не понимаю.

— Понимаете, — сказал Астахов. — Потому что вы вошли в тёмную квартиру, в которой пятнадцать минут назад был минус, и вы не сказали ни слова про холод. А вы всегда говорите про холод, Тамара Ильинична. Вы про него говорите с каждым, к кому приходите. Вы даже мне в отделении сказали, что вам везде тепло.

Она молчала.

— И вы пришли с пакетом к человеку, которого, как вы уверены, уже нет, — сказал Астахов. — Вы всегда приходите с пакетом. Пакет — это ваша причина войти.

Что-то в её лице сместилось.

Астахов ждал этого и всё равно не был готов: он смотрел на неё и видел обычную полную женщину пятидесяти лет с обветренными руками — и никакой личины, никакой второй кожи, ничего. Она была человек. Целиком, до конца, без единой чужой чёрточки.

Это оказалось хуже всего.

— Пётр Игнатьевич хороший, — сказала она вдруг. — Я к нему через день ходила. Это правда, вы у него спросите.

— Я спросил.

— И бельё меняла.

— И бельё меняли.

— У меня сын не ходит, — сказала Тамара Ильинична ровно. — Двадцать три года. Ему нужна была вторая операция, а её не делают по квоте, её делают за девятьсот тысяч. Первую я сделала на тёткину квартиру. Вторую надо было на что-то делать.

Она села на банкетку и сложила руки на коленях.

— Я никого не трогала, — сказала она. — Я хочу, чтобы вы это записали. Я ни к кому пальцем не притронулась. Я просто брала копейку.

— Вы знали, что будет.

— Знала, — сказала она. — И они знали. Они все знали, они сами эти копейки клали. Только они старые были и одинокие. Им и так недолго.

В квартире было тепло — батареи работали, за окном светало, и на подоконнике стояла герань, которую велели не трогать.

— Тамара Ильинична, — сказал Астахов. — Кто вас научил?

Она подняла на него глаза.

И впервые за весь разговор посмотрела с интересом.

— А вы, значит, тоже, — сказала она. — Я думала, показалось.

— Кто вас научил?

— Мужчина, — сказала Тамара Ильинична. — Я его один раз видела, семь лет назад, в Заполярье, когда мужа хоронила. Он подошёл на остановке. Сказал: у тебя, Тома, будет тяжёлая жизнь, и я тебе покажу, как её облегчить. Показал. Больше не приходил.

— Как его звали?

— А он не сказал. — Она пожала плечами. — Он вообще мало говорил. Он мне только одно объяснил: тварь не виновата, виноват тот, кто вынимает.

Она помолчала и добавила, глядя в пол:

— Я это, знаете, каждый раз себе повторяла. Что не виновата. Только оно почему-то не помогает.

Шмелёв вошёл в квартиру в восемь сорок одну, с двумя понятыми и с Радченко.

Уголовное дело возбудили двадцать второго декабря: мошенничество в отношении имущества, совершённое организованной группой.

В группе оказалось трое: Сотник Тамара Ильинична; нотариус Пахомова, оформлявшая завещания на дому и получавшая за это отдельно; и Бортко Валентин Юрьевич, который, как выяснилось, знал про завещания заранее и заходил в квартиры первым.

Бортко в первый же день дал показания на всех и потом три недели рассказывал, как он ни при чём.

Пять эпизодов смертей в постановление не вошли.

Их не могло туда войти. Гринько написал по всем пяти «общее переохлаждение организма» — честно, до последнего знака, — и по всем пяти в графе о механизме стояло «достоверно не установлен». Ни орудия, ни следов, ни телесных повреждений, ни одного эксперта в стране, готового связать смерть человека в отапливаемой квартире с исчезновением медного кружка из-под половицы.

Прокурор прочитал справку Астахова и сказал ровно то, что должен был сказать:

— Майор, вы мне принесли мотив и доступ. Способ где?

— Способа нет.

— Тогда идите работайте по имуществу.

Тамаре Ильиничне вменили пять эпизодов мошенничества и заключили под стражу. Ей грозило до десяти лет.

За пять человек, которые умерли, ей не вменили ничего.

Астахов подписал справку и сидел потом полчаса, глядя в стену.

— Слушай, — сказал Шмелёв от своего стола. — Хочешь, скажу гадость?

— Скажи.

— Десять лет — это больше, чем ей дали бы за одно убийство по неосторожности. — Шмелёв грыз ручку. — Я это не в утешение. Я просто посчитал.

— Она получит семь.

— Она получит семь, — согласился Шмелёв. — И выйдет в пятьдесят восемь. И знаешь, что самое поганое? У неё сын не ходит. И ему теперь никто бельё менять не будет.

Он бросил ручку.

— Ненавижу такие дела, — сказал он. — В парке было лучше. В парке был гад, и гад упал в траншею.

Астахов не ответил.

Двадцать девятого декабря он приехал в изолятор на свидание.

Тамара Ильинична вошла в комнату для допросов, села, сложила руки на столе. За две недели она осунулась, и уютности в ней не осталось совсем — как будто уютность и была тем самым, что она надевала утром вместе с курткой.

— Я вам ничего нового не скажу, — предупредила она.

— Я не за этим.

— А за чем?

Астахов положил на стол лист бумаги и карандаш.

— Нарисуйте мне того мужчину с остановки.

Она посмотрела на лист.

— Я не умею рисовать.

— Тогда опишите.

— Я его не помню, — сказала Тамара Ильинична. — Вот честно. Я семь лет пытаюсь и не помню. Пальто помню. Что снега на плечах не было — помню, а был снегопад.

Астахов убрал лист.

— И вот что я вам скажу, Михаил Сергеевич. — Она наклонилась через стол. — Он про вас говорил.

— Что?

— Не про вас лично. — Она покачала головой. — Он сказал так: «Тома, если однажды к тебе придёт человек, который увидит копейку, — не бойся его, он тебе не судья. Он такой же, только ещё не знает, чем платят».

Она откинулась на стуле.

— Я тогда не поняла ни слова, — сказала она. — А вот сейчас смотрю на вас и думаю: наверное, он про то, что вам тоже предложат.

* * *

Тридцать первого декабря Астахов заехал на Мебельщиков, пять, к Петру Игнатьевичу — привезти обратно ключи и справку для собеса.

Старик был жив, сердит и уже вернул на подоконник все три горшка.

— Тамарку-то посадили? — спросил он.

— Под стражей.

— За квартиры?

— За квартиры.

Волох помолчал, глядя в окно.

— А я ведь, знаете, всё думаю, — сказал он. — Она мне бельё меняла. Через день ходила. Это ж не сыграешь.

— Не сыграешь, — сказал Астахов.

— Вот и я говорю. — Старик махнул рукой. — Тьфу. Не пойму я нынешних.

У порога, уходя, Астахов присел и без всяких объяснений сунул под новую доску медную деньгу — предпоследнюю из дедовой жестянки.

— Это что? — спросил Волох.

— От сквозняка, — сказал Астахов. — Не выметайте.

— От сквозняка копейкой?

— Дом старый, — сказал Астахов. — Под ним вода.

Старик посмотрел на него долгим, очень внимательным взглядом человека, который сорок лет водил тепловоз и научился не спорить с приметами.

— Ладно, — сказал он. — Не буду.

Домой Астахов приехал в половине одиннадцатого вечера.

Во дворе на Восьмой Заводской жгли бенгальские огни, тётя Люба с третьего этажа кричала кому-то в форточку, чтобы не орали под окнами, и на детской площадке стояла ёлка, которую поставили ещё на прошлой неделе и уже успели наполовину разобрать.

— Миш! — крикнула тётя Люба. — С наступающим!

— И вас.

— А чего один?

— Так работа.

— Работа! — сказала тётя Люба с отвращением. — У тебя всегда работа. Ты хоть салат купи.

Он поднялся к себе, включил свет в прихожей и стал снимать пальто.

В правом кармане что-то было.

Астахов сунул руку и достал.

Медная монета, чёрная, размером с пятак, потёртая с одного края — точно так же, как все, что он видел за этот месяц.

Он стоял в прихожей и смотрел на неё.

Своих у него оставалось три: одну он отдал в двадцать седьмой квартире, вторую в пятьдесят четвёртой, третья лежала в жестянке в подвале на Тополиной, под замком, за фальшивой стеной, в доме, куда он не заезжал одиннадцать дней.

Он сжал монету в кулаке.

Она была тёплая.

Книга 3. Тот, кто вернулся. Глава 11. Двое одинаковых

Сторож промзоны на Литейном шоссе выпустил собаку в шесть утра, и собака не пошла.

— Ты чего? — сказал сторож. — Иди давай.

Овчарка стояла в дверях сторожки, упёршись всеми четырьмя, и смотрела в темноту между шестым и седьмым складами, где ветер намёл сугроб вдоль забора.

Сторож взял фонарь.

Из сугроба торчал ботинок.

Астахов приехал в семь пятнадцать, и февраль в этот день решил показать себя целиком: минус восемнадцать, сухой снег, ветер вдоль забора такой, что слезились глаза.

— Долго не стойте, — сказал Гринько вместо приветствия. Он был в тулупе поверх халата и в шапке, из-под которой торчали очки. — Я лично намерен работать быстро и потом два часа отогреваться.

Мужчина лежал у забора, лицом вниз, наполовину в снегу. Одежда была зимняя, но чужая: куртка на два размера больше, рукава закрывали кисти, и штаны были подвёрнуты.

— Что видите? — спросил Астахов.

— Вижу мужчину лет сорока — сорока пяти, — сказал Гринько. — Вижу, что он тут не со вчера: снег под ним слежался. Вижу, что смерть насильственная, и что орудие узкое.

— Нож?

— Нет. — Гринько присел и показал карандашом, не касаясь. — Нож даёт другую картину. Здесь трёхгранное. Гранёное, узкое, длиной, я думаю, в ладонь.

Астахов очень медленно выпрямился.

Три гранёных штыря с потемневшими хвостовиками и клеймом из двух букв лежали у него дома, во внутреннем кармане куртки, которую он вешал в шкаф; ещё девять — в деревянном ящике в подвале на Тополиной, за фальшивой стеной.

— Какое-нибудь шило? — предположила Лида Ковач, не поднимая головы. — Сапожное? Тут промзона, тут склады, тут этого добра.

— Возможно, — сказал Гринько. — Ищите.

— Уже ищем. Тут метровый снег и три гектара, Аркадий Львович.

Документы нашли сразу — во внутреннем кармане куртки, в целлофановом пакете, аккуратно сложенном вчетверо.

Паспорт. Ильчук Сергей Павлович, сорок один год, прописан: Северодольск, улица Крамского, 18, квартира 62.

Фотография в паспорте совпадала с тем, что лежало у забора. Совпадала полностью, без всяких «похож».

— Ну хоть с личностью не мучиться, — сказал Шмелёв, дыша в кулак. — Уже подарок.

* * *

Марина Ильчук приехала в морг на Заводскую в час дня.

Ей было тридцать девять. Худая, в пуховике не по росту, с руками, которые она не знала куда деть.

Она посмотрела и сказала:

— Да. Это Серёжа.

— Вы уверены?

— Пятнадцать лет замужем, — сказала она.

И вот тут случилось то, чего Астахов потом не мог выкинуть из головы: Марина Ильчук не заплакала.

Она посмотрела на мужа, кивнула сама себе и выдохнула — длинно, всей грудью, как выдыхают, когда наконец отпустило.

— Марина Викторовна, — сказал Астахов. — Вам плохо?

— Мне хорошо, — сказала она.

Потом она поняла, что сказала, и закрыла рот ладонью.

В коридоре Зинаида Марковна проводила её взглядом и покачала головой.

— Бедная баба, — сказала она.

— Почему?

— Потому что так выдыхают, когда пятнадцать лет боятся, — сказала Зинаида Марковна. — Я тут тридцать лет сижу, Михал Сергеич. Я на них не смотрю, я слушаю.

Пятого февраля, в девять сорок утра, в дежурную часть управления вошёл мужчина и сказал, что его, кажется, объявили мёртвым.

Дежурный вызвал Астахова.

Мужчина сидел в коридоре второго этажа на посетительском стуле, положив на колени шапку. Тёмная куртка, рабочие ботинки, обветренное лицо. Сорок один год.

Он был тот же самый.

Не похожий, не двойник — тот же самый, до родинки под левым глазом, до формы ушей, до того, как растут волосы на виске.

— Ильчук Сергей Павлович? — спросил Астахов.

— Он самый. — Мужчина встал и подал паспорт. — Мне на работе сказали. Говорят, Серёга, тебе жена звонила, тебя в морге опознали. Я думал, шутят.

Паспорт был настоящий. Астахов вертел его так и эдак — ламинат, шов, водяные знаки, всё на месте. Серия и номер совпадали с тем, что лежал в пакете у Лиды в сейфе.

Два паспорта. Одинаковых.

— Присядьте, Сергей Павлович.

— Да я на смену опоздаю.

— Присядьте.

В кабинете двести шесть Астахов включил чайник, потому что не знал, с чего начать, и это было честнее, чем делать вид, что знает.

— Где вы были со второго на третье февраля?

— Дома. Второго отработал в первую, пришёл в шесть, лёг рано.

— Кто подтвердит?

— Жена, — сказал Ильчук. — Дочь. Соседи, наверное, я вечером снег во дворе кидал.

— Третьего?

— Смена. С восьми. — Он пожал плечами. — На проходной отметка есть, у нас турникет.

Отметка была. Шмелёв поднял её через сорок минут: третьего февраля Ильчук С. П. прошёл проходную комбината «Северодольскмаш» в семь пятьдесят одну и вышел в семнадцать двенадцать.

Астахов сидел напротив него и смотрел.

Ильчук смотрел в ответ — спокойно, чуть виновато, как смотрит человек, которого вызвали и который не понимает, чем провинился.

Ничего не сдвинулось. Ни на секунду, ни на полсекунды. Лицо сидело так, как сидит собственное лицо: без шва, без зазора, без темноты под скулой.

— Сергей Павлович. У вас есть брат?

— Нет.

— Двоюродный? Сводный? Может быть, вы не знаете?

— Мать одна рожала, — сказал Ильчук. — Один я. Она мне это всю жизнь припоминала, что одного не подняла нормально.

— Мать жива?

— Жива. В Ключах, в интернате. Ей семьдесят восемь и она меня не узнаёт.

Астахов записал: «Ключи. Интернат. Проверить».

— Сергей Павлович, а документы вы не теряли?

— Нет.

— Ключи от квартиры?

Ильчук помолчал.

— Ключи были, — сказал он. — В декабре. Я думал, обронил. Замок менять не стал, руки не дошли.

Астахов положил ручку.

— В морге на Заводской лежит человек, — сказал он. — С вашим лицом, с вашим паспортом и с вашими ключами в кармане. Ваша жена опознала его как вас.

Ильчук поднял голову.

И на этой секунде Астахов увидел то, чего ждал полтора часа.

Не личину. Личины не было.

Он увидел, как человек напротив — впервые за весь разговор — не удивился.

— Она ошиблась, — сказал Ильчук ровно. — Она устала. У неё это бывает.

— Объясняй, — сказал Гурьев.

В кабинете было жарко, за окном стоял февраль, и на подоконнике у Гурьева уже неделю лежал разобранный обогреватель, который он обещал починить и не чинил.

— Объяснений три, — сказал Астахов. — Первое: близнец, о котором Ильчук не знает. Второе: человек, который жил по его документам, — двойник, подделка, схожесть. Третье: сам Ильчук инсценировал гибель, подложил документы, а потом что-то пошло не так.

— Инсценировал и вышел на смену?

— Он мог не знать, что тело нашли раньше срока.

— И явился к нам добровольно? — Гурьев потёр глаза. — Астахов, ты сам-то в это веришь?

— Нет.

— Вот и я нет. — Гурьев подвинул к нему лист. — Значит, работаем по первым двум. Запрос в ЗАГС по матери — все роды. Запрос в интернат. Дактилоскопия по трупу — срочно. И назначай генетическую.

— Уже назначил. Срок — три недели.

— Три?

— Лаборатория в области одна, — сказал Астахов. — Очередь.

Гурьев выругался коротким служебным способом, который не считался руганью.

— Ладно. — Он посмотрел в окно. — И вот что, майор. Я тебе скажу, а ты не обижайся. Я в октябре тебе поверил. И в декабре поверил. У меня два дела, где раскрытие есть, а объяснения нет.

— Валерий Тимофеевич.

— Дослушай. — Гурьев повернулся. — Я не спрашиваю, что ты знаешь. Я спрашиваю другое: ты меня хоть раз обманул в бумаге?

Пауза была ровно такой длины, чтобы Астахов успел выбрать.

— Один раз, — сказал он.

Гурьев смотрел на него секунд пять.

— Спасибо, — сказал он наконец. — Иди работай.

Дактилоскопия пришла через два дня.

Отпечатки трупа совпали с отпечатками Ильчука Сергея Павловича из базы — он проходил дактилоскопирование в две тысячи девятнадцатом, когда устраивался на комбинат, потому что там режимный цех.

Отпечатки живого Ильчука, которые сняли в отделе, совпали с теми же.

Шмелёв прочитал заключение дважды и положил на стол.

— Мишань, — сказал он. — Я не хочу это произносить вслух.

— Произнеси.

— У нас два человека с одними пальцами. — Шмелёв откинулся на стуле. — Так не бывает. Даже у близнецов не бывает, я специально сейчас смотрел, у близнецов ДНК одна, а пальцы разные.

— Значит, кто-то ошибся.

— Значит, кто-то ошибся, — сказал Шмелёв. — Только знаешь что? Я сам возил карту и сам стоял над экспертом. И я в этот раз не ошибся.

Он помолчал и добавил:

— И вот теперь, Мишань, ты мне скажешь, что тут нет ничего странного, и я на тебя обижусь.

* * *

Квартира шестьдесят два в доме восемнадцать по улице Крамского была двухкомнатная, чистая до стерильности и с новыми обоями в коридоре.

— Мы в январе поклеили, — сказала Марина Ильчук. — Пятнадцать лет собирались.

Она поставила чайник, вытерла и без того сухой стол и села напротив, положив руки перед собой.

— Марина Викторовна, — сказал Астахов. — Второго февраля вечером ваш муж был дома?

— Был.

— Всю ночь?

— Всю.

— Вы не спали?

— Я плохо сплю, — сказала она.

Астахов посмотрел на неё.

— В морге вы сказали: «Это Серёжа». Вы были уверены.

— Была.

— А сейчас?

Марина молчала долго.

— Михаил Сергеевич, — сказала она наконец. — Вы мне не поверите. Мне уже никто не поверил.

— Кому вы говорили?

— Участковому. Потом врачу. — Она усмехнулась и посмотрела в стол. — Врач мне сказал, что это называется красивым французским словом и что бывает при переутомлении.

— Скажите мне.

Она подняла глаза.

— Мой муж вернулся домой двадцать первого декабря, — сказала Марина Ильчук. — Уехал утром, вернулся вечером. И это не он.

В кухне капал кран. Астахов не перебивал.

— Я вам сейчас всё расскажу как есть, и вы решайте, — сказала она. — Серёжа пил. Не запоями, а так, каждый день понемногу, пятнадцать лет. Он мне зарплату не отдавал. Он в декабре занял у людей, я даже не знаю сколько, они мне звонили. Он один раз в позапрошлом году поднял руку, и Ксюша это видела.

Астахов записал: «Долг. Кредиторы. Уточнить».

— А двадцать первого декабря он пришёл, — сказала она, — и с этого дня не пил ни разу. Ни капли. Он отдал долг. Он в январе купил обои и сам поклеил. Он с Ксюшкой уроки делает. Он у меня спрашивает, как я себя чувствую.

— И это плохо?

— Это прекрасно, — сказала Марина. — Это то, о чём я пятнадцать лет просила. Только это не он.

— Почему?

— Потому что он не курит, — сказала она.

Астахов поднял голову.

— Серёжа курил с шестнадцати лет. Полторы пачки. Он ночью вставал курить, у нас на балконе банка стояла. — Марина показала на подоконник, где стояла герань и не стояло ничего другого. — С двадцать первого декабря — ни одной. Ни разу. Знаете, что делает человек, который бросил курить?

— Мучается.

— Мучается, — кивнула она. — Ходит, злится, ест конфеты. А он просто не курит. Как будто никогда и не начинал.

Она встала, отошла к окну и стояла к нему спиной.

— И ещё, — сказала она. — Он больше не помнит мелочей. Не крупного. Крупное он всё знает — где работал, где отдыхали, как маму зовут. А мелочи не помнит. Ксюша с ним поругалась в январе и сказала: пап, ты забыл, как меня в садике звали. Он говорит: Ксюшей. А её в садике звали Пуговка. Он же сам и придумал.

— Вы сказали об этом врачу?

— Сказала. — Марина повернулась. — Врач мне объяснил, что при сильном стрессе человек может перестать узнавать близких и начать считать их подменёнными. Он мне выписал лекарство. Я его пью.

— Помогает?

— Спать помогает, — сказала она. — Видеть не мешает.

В коридоре скрипнула дверь.

Ксюше Ильчук было четырнадцать: длинная, угловатая, в наушниках, с телефоном в руке, и она посмотрела на Астахова так, как смотрят подростки на всё, что старше двадцати пяти.

— Ксюша, — сказала Марина. — Это из полиции.

— Я поняла.

— Ксения, — сказал Астахов. — Один вопрос. Ваш папа изменился в декабре?

Девочка пожала плечами.

— Стал нормальный, — сказала она. — Раньше был ненормальный, теперь нормальный.

— И это всё?

Она помолчала, и вот тут с неё сошёл весь подростковый лак — на две секунды, не больше.

— Он стучит, — сказала она.

— Куда?

— В мою дверь. Прежде чем зайти. — Ксюша смотрела в пол. — Он никогда в жизни не стучал.

Она ушла к себе, и через минуту оттуда пошла музыка.

Астахов встал.

— Марина Викторовна. Где он сейчас?

— На смене. Придёт в семь.

— Я подожду, — сказал Астахов.

Он ждал два часа, и в семь ноль пять в замке повернулся ключ, и Сергей Ильчук вошёл в квартиру, поставил сумку, разулся и сказал в сторону кухни:

— Марин, я хлеб взял.

Потом он увидел Астахова.

И ничего не произошло.

Ни личины, ни шва, ни зазора. Человек как человек: усталый, с холода, с красными от ветра щеками, в куртке, от которой пахло цехом.

Астахов смотрел на него в упор двадцать секунд — так, как смотрел в октябре у фонтана и в декабре в тёмной прихожей, — и не увидел ровным счётом ничего.

— Вы ко мне? — спросил Ильчук.

— К вам.

— Тогда я разденусь.

Он снял куртку и повесил на крючок, и Астахов, стоя в двух шагах, наконец заметил единственное.

Крючков было четыре. Куртка Марины висела на первом, дочкина — на втором, пуховик — на третьем.

Ильчук повесил свою на четвёртый — крайний, у самой двери, тот, на котором обычно висят чужие вещи.

Так вешают гости.

Глава 12. Заявление без фамилии

— Ты мне вот что скажи, — сказал Шмелёв, разворачивая на столе карту промзоны. — Что он там делал?

— Кто?

— Наш покойник. Литейное шоссе, склады, забор. До ближайшего жилья два километра. Автобус туда ходит четыре раза в день и последний в семнадцать сорок. — Шмелёв ткнул карандашом. — Он туда не гулять пришёл.

— Он там жил, — сказал Астахов.

Шмелёв поднял голову.

— С чего ты взял?

— С одежды. Куртка на два размера больше, штаны подвёрнуты, ботинки не по ноге. Так одеваются, когда берут, что дали. И с рук: Гринько говорит, руки обмороженные, старые обморожения, ноябрь-декабрь.

— То есть человек с квартирой на Крамского два месяца жил в промзоне.

— То есть человек, у которого была квартира на Крамского, два месяца жил в промзоне, — поправил Астахов.

Они поехали туда вдвоём, взяв с собой сторожа и его собаку, и собака в этот раз шла нормально, потому что тело увезли четыре дня назад.

Бытовку нашли за седьмым складом — списанный вагончик без колёс, который «Северодольсклес» бросил тут ещё в позапрошлом году.

Дверь была прикручена проволокой изнутри.

Внутри стояла железная койка с матрасом, две табуретки и печка-буржуйка, сделанная из бочки. У печки лежала стопка нарубленных досок. На гвозде висело полотенце.

На столе стояла жестяная банка с чаем, лежала половина буханки и — Астахов взял в перчатке — стопка бумаги.

Это были заявления.

Восемь штук, написанных от руки, печатными буквами, каждое на тетрадном листе, и все восемь — черновики одного и того же.

«Прошу разобраться. Я, Ильчук Сергей Павлович, 41 год, проживаю по адресу ул. Крамского 18 кв. 62. 21 декабря в мою квартиру вселился человек, выдающий себя за меня. Мою жену и дочь он не трогает, живёт как я, ходит на мою работу. Документы мои у него. Прошу проверить и восстановить».

На четвёртом листе последняя строчка была переписана:

«Прошу проверить и восстановить. Я понимаю, как это звучит».

На седьмом:

«Прошу хотя бы съездить и посмотреть на его руки. У меня на левой шрам от циркулярки, с 2011 года. У него нет».

На восьмом было написано только:

«Я не сумасшедший».

Шмелёв читал через плечо и молчал.

— Костя.

— Да.

— Съезди в морг. Посмотри левую руку.

Шмелёв съездил и позвонил через час.

— Шрам есть, — сказал он в трубку. — Восемь сантиметров, поперёк ладони, старый. Гринько говорит — типичное производственное, лет пятнадцать назад.

— А у живого?

— А у живого я вчера паспорт из рук брал, — сказал Шмелёв после паузы. — Руки чистые. Мишань, я на это смотрел и не видел.

Отказной материал Радченко нашёл сам, без запроса, и принёс его лично, и вид у него был такой, что Астахов сразу понял, зачем.

— Тринадцатое января, — сказал участковый, кладя тонкую папку на стол. — Обращение гражданина без документов. Я его принял.

— Читай.

— Да я наизусть помню. — Радченко смотрел в стену. — Пришёл мужик. Небритый, в чужой куртке, руки красные. Говорит: в мою квартиру вселился человек, который выдаёт себя за меня. Я говорю: документы. Он говорит: документов нет, они у него. Я говорю: как фамилия. Он говорит: Ильчук Сергей Павлович. Я пробиваю — Ильчук Сергей Павлович, Крамского восемнадцать, шестьдесят два, проживает, работает, живой-здоровый, три дня назад проходил медосмотр.

— И что ты сделал?

— Я его выслушал, — сказал Радченко. — Полностью. Двадцать минут. Потом позвонил на Крамского, и трубку взял Ильчук Сергей Павлович, и я его спросил, всё ли у него в порядке, и он сказал — всё в порядке.

— А потом?

— А потом я предложил этому вызвать скорую, — сказал участковый. — Он отказался. Я ему объяснил, что без документов я ничего сделать не могу и что первым делом надо восстановить паспорт. Дал ему адрес паспортного стола и написал на бумажке, какие справки нужны. Он бумажку взял и ушёл.

Радченко достал из папки лист.

— Вот его объяснение. Я его записал полностью, слово в слово. Регистрировать было не по чему — заявления он писать отказался, сказал, что уже писал в декабре и что от него отмахнулись.

Астахов прочитал объяснение. Оно было записано аккуратным почерком, с датой, с временем начала и окончания, с подписью «от подписи отказался, объяснение прочитано вслух».

Внизу Радченко приписал от себя:

«Признаков опьянения не имеет. Ориентирован. На учёте не значится. Прошу поставить на контроль по возвращении с больничного».

Больничный был с четырнадцатого января. Радченко упал на льду и сломал запястье.

— Я вышел двадцать девятого, — сказал участковый. — И забыл.

Он стоял и смотрел мимо Астахова.

— Не забыл, — сказал он. — Помнил. Но у меня было сорок восемь материалов, из них шесть по срокам горело, и я подумал: ну ходит человек, ну придёт ещё раз.

— Радченко.

— Я, если что, рапорт напишу, — сказал участковый. — Я всё правильно сделал по бумаге, вы сами видите. Я по бумаге вообще идеально сделал.

— Ты сделал правильно, — сказал Астахов.

— Ага, — сказал Радченко и пошёл к двери. У двери он остановился. — Михаил Сергеевич. Вот вы сейчас скажете «правильно», и я пойду. А он в вагончике жил. Два месяца. Я мимо этой промзоны на участок езжу.

* * *

Врача звали Тимур Ринатович Байсаров, он вёл приём в поликлинике на Полевой и уделил Астахову ровно двадцать минут, потому что за дверью сидели ещё одиннадцать человек.

— Я вам про пациентку ничего не скажу, — предупредил он сразу. — Вы это знаете.

— Знаю. Я не про пациентку. Я про явление.

Байсаров кивнул и заметно расслабился.

— Синдром Капгра, — сказал он. — Бред двойника. Человек убеждён, что близкого подменили внешне идентичным самозванцем. Встречается при разных состояниях, иногда после травмы, иногда сам по себе.

— Часто?

— Редко. За двадцать лет практики — четыре случая.

— И как это выглядит?

— По-разному. — Байсаров подумал. — Но есть общее. Обычно человек не может назвать ни одного конкретного отличия. Он говорит: я чувствую, я знаю, это не он, у него другой взгляд. А когда просишь: приведите факт — фактов нет. Потому что бред это и есть бред: убеждение впереди доказательств.

Астахов достал блокнот.

— А если фактов много? Если человек говорит: он не курит, хотя курил двадцать лет; он не помнит домашнего прозвища ребёнка; у него нет шрама, который был?

Байсаров помолчал.

— Тогда я, как врач, обязан сначала проверить факты, — сказал он. — И только потом ставить диагноз. Это, знаете, в учебнике первым пунктом стоит, и это первое, что забывают.

— Спасибо.

— Не за что. — Врач посмотрел на него. — Только вы имейте в виду: человек может быть и болен, и прав одновременно. Так тоже бывает, и это самое неприятное для всех.

Вечером Астахов сидел в машине во дворе дома восемнадцать по Крамского и смотрел на окна шестьдесят второй квартиры.

Свет горел на кухне. Через тюль было видно, как кто-то ходит, наклоняется, что-то ставит.

В половине девятого он поднялся.

Открыл Ильчук.

— Опять вы, — сказал он без раздражения. — Марина в ванной. Ксюша уроки делает. Проходите на кухню.

Он поставил чайник — сам, не спрашивая, — достал две кружки и сел напротив.

— Спрашивайте.

— Сергей Павлович, — сказал Астахов. — У вас на левой ладони был шрам.

Ильчук посмотрел на свою руку.

— Не было, — сказал он.

— Циркулярка. Две тысячи одиннадцатый.

— Не было, — повторил Ильчук.

Он положил обе ладони на стол. Ладони были рабочие, с мозолями, с въевшейся в трещины смазкой. Никакого шрама.

— Двадцать первого декабря вы вернулись домой другим человеком, — сказал Астахов.

— Я вернулся домой трезвым, — сказал Ильчук. — Первый раз за пятнадцать лет. Люди это называют по-разному.

— Где вы были до этого?

— Дома.

— Где вы были до двадцать первого декабря?

Ильчук молчал.

Чайник щёлкнул и выключился, и в кухне стало очень тихо, и Астахов услышал, как в ванной шумит вода и как за стеной у соседей работает телевизор.

— Она вам сказала, — проговорил Ильчук наконец. — Про сигареты.

— Сказала.

— Я знал, что она заметит. — Он посмотрел на свои руки. — Я думал, начну курить. Пробовал. Не идёт.

Астахов сидел совершенно неподвижно.

— Кто вы? — спросил он.

И Сергей Ильчук — тот, кто повесил куртку на крайний крючок, кто стучал в дверь к четырнадцатилетней дочери и кто поклеил в январе обои, — поднял на него спокойные, усталые, совершенно человеческие глаза и сказал:

— Я лучше него.

Астахов вышел из подъезда в десять вечера и до половины двенадцатого просто ездил по городу.

Он не задержал его.

Он не мог его задержать: у Ильчука было алиби на третье февраля, подтверждённое турникетом режимного предприятия, и не было ни одного основания, которое можно записать в протокол. Фраза «я лучше него» в протокол не пишется.

В подвал на Тополиной он спустился в полночь.

За зиму подвал обжился окончательно: у кресла стояла настольная лампа, на ящике с железом лежала картотека, а на стене Астахов приколол кнопками лист ватмана, на котором вёл то, что сам про себя называл описью — три столбца, «безвредна», «опасна при условии», «истреблять», и в третьем столбце было пусто, если не считать одной строки за октябрь.

«Книга родов и обличий» лежала на подставке.

Он искал по признаку — по тому единственному, что у него было: не лицо, а руки. Не личина, а отсутствие шрама.

Нашёл на сто сорок первом листе.

«ПОДМЕННЫЙ, он же второй, он же тихий брат.

Обличье: не берёт чужого лица, как пересмешник, а становится человеком целиком, до ногтя и до крови. Отличить нельзя ни глазом, ни зеркалом, ни водой. Хранитель его не видит.

Как узнаётся: по недостаче. Он делает человека новым, а новый — без старых отметин: без шрама, без ожога, без сведённого пальца. И без старой привычки: кто пил — не пьёт, кто курил — не курит. И без малой памяти: большое знает, мелкого не знает.

Повадка: приходит к тому, кто плох собой и другим. Живёт рядом месяц-другой, смотрит и запоминает, потом занимает место и живёт как надо: работает, кормит, не бьёт. Крови не берёт. Настоящего не убивает, а отводит, и тот уходит и живёт при своей жизни рядом, как бродяга при доме.

Особо и наиважнейшее: подменный держится настоящим. Пока живой человек ходит по земле, второй с него списан и делает как он должен был делать. Как настоящий умрёт, списывать станет не с кого. Тогда второй остаётся при чужой семье уже сам по себе, и никто не знает, каков он сам по себе, потому что сам по себе он ещё не был.

Приговор: ОПАСЕН ПРИ УСЛОВИИ. Пока жив первый — не трогать. Как первого не станет — решать в тот же день и не откладывать.

Записано в 1849 году. С тех пор в роду решали четырежды. Дважды истребляли, дважды нет. Чем кончилось у тех, кто не тронул, читай в тетради седьмой.»

Астахов дочитал и долго сидел, глядя на страницу.

Потом он встал и пошёл искать седьмую тетрадь.

Тетрадей на полке стояло двенадцать, все дедовы, за сорок с лишним лет. Седьмая была на месте — клеёнчатая, с оторванным углом.

Ту запись, что нужна, он нашёл под датой «17 марта»:

«Ходил в Слободу к Гуськовым, где второй. Первого схоронили в феврале. Второй живёт: работает, детей кормит, жена не нарадуется. Смотрел на него три дня. Ничего дурного не увидел и не трогал.

Приписка через год. Опять был у Гуськовых. Жена в больнице, дети у сестры, второй живёт один и в дом никого не пускает. Спрашиваю: что с тобой? Отвечает: а мне теперь не с

кого. Я, говорит, восемь лет знал, как надо, а теперь не знаю, и делаю как хочу, а хочу я не по-людски.

Решил в тот же день. Записываю без гордости: надо было решать год назад, когда было легче ему и мне.»

Астахов закрыл тетрадь.

Наверху, над головой, скрипнула половица в пустом доме — от мороза, потому что за окном стояло минус двадцать, — и он даже не поднял головы.

Он думал о человеке, который сегодня вечером поставил перед ним кружку и сказал «я лучше него», и о том, что этот человек прямо сейчас, вот в эту минуту, списывает себя с мертвеца, лежащего у Гринько в холодильнике, и ещё не знает об этом.

И о том, что решать придётся ему.

Глава 13. Тот, кто платил долги

Интернат для престарелых в Ключах стоял на самом берегу, в бывшем профилактории комбината, и из окон столовой была видна река, скованная льдом до самого дальнего поворота.

Астахов приехал туда десятого февраля, взяв Шмелёва, потому что Шмелёв умел разговаривать со старушками, а Астахов — нет.

— Ильчук Пелагея Тимофеевна, — сказала заведующая, ведя их по коридору. — У нас с двадцать второго года. Диагноз я вам не назову, но вы и так поймёте. Она хорошая, спокойная. Только не спрашивайте её про сегодня, она про сегодня не знает.

— А про раньше?

— Про раньше знает лучше нас с вами.

Пелагея Тимофеевна сидела у окна в кресле, в двух кофтах и в платке, и перебирала на коленях моток шерсти, в котором не было ни начала, ни конца.

— Здравствуйте, — сказал Шмелёв и сел рядом на корточки. — Меня Костя зовут.

— Костя, — согласилась она.

— Пелагея Тимофеевна, у вас сколько детей?

— Один, — сказала она сразу. — Серёжка.

— А близнецов не было?

— Один, — повторила она. — Я его в апреле родила, в дождь. Меня в роддом на молоковозе везли.

Шмелёв посмотрел на Астахова через плечо.

Астахов достал две фотографии.

Первую — с паспорта живого Ильчука. Вторую — посмертную, ту, что сделали в морге, аккуратно кадрированную так, чтобы было видно только лицо.

Он положил их обе на подоконник, рядом.

— Пелагея Тимофеевна, — сказал он. — Посмотрите, пожалуйста. Тут ваш сын?

Старуха посмотрела.

Она смотрела долго — минуты полторы, — и лицо у неё было спокойное и внимательное, как у человека, который читает знакомую страницу.

Потом она подняла руку и накрыла ладонью вторую фотографию. Ту, что из морга.

— Вот, — сказала она.

— Это ваш сын?

— Серёжка.

— А этот? — Астахов подвинул первую.

Пелагея Тимофеевна посмотрела на паспортное фото и вдруг заулыбалась — светло, доверчиво.

— Хороший мальчик, — сказала она. — Он ко мне ходит.

— Ходит?

— Ходит. — Она кивнула. — Всю зиму ходит. Апельсины носит. Спрашивает про всё: и про школу, и как я работала, и как Серёжку в садик водила.

— И вы рассказываете?

— Рассказываю, — сказала старуха. — Мне не жалко.

Шмелёв медленно поднялся с корточек.

— Пелагея Тимофеевна, — сказал Астахов. — А почему вы сказали, что вот этот — Серёжка, а тот — мальчик?

Она посмотрела на него как на глупого.

— Так у Серёжки рука порезанная, — сказала она. — Он в одиннадцатом году руку располосовал, я к нему в больницу ездила. Мне через дорогу переводили.

— Тут не видно рук.

— Так я и не по руке, — сказала Пелагея Тимофеевна. — Я по лицу. У кого рука болела, у того и лицо помнит.

Она снова взялась за шерсть.

— Вы им обоим скажите, чтоб ходили, — добавила она. — Мне тут скучно.

В коридоре Шмелёв остановился у окна и минуты две смотрел на замёрзшую реку.

— Записывать будем? — спросил он.

— Что записывать?

— Ну вот это всё. Опознание.

— Костя, — сказал Астахов. — Ей семьдесят восемь, у неё диагноз, и она сказала, что оба — её сын. Любой адвокат разберёт это за минуту.

— Я знаю, — сказал Шмелёв. — Я спрашиваю не про суд.

Он отвернулся от окна.

— Я спрашиваю, будет ли это где-нибудь записано вообще, — сказал он. — Хоть в одной бумаге на свете. Потому что она сейчас единственная во всём городе, кто их различил, и через год её не будет.

Астахов достал блокнот и записал — дословно, с датой и временем, как записывают объяснение.

— Вот, — сказал он. — Записано.

— Это твой блокнот, а не дело.

— Это всё, что у меня есть, — сказал Астахов.

* * *

Тринадцатого февраля в «Северодольском вестнике» вышел материал на полполосы: «Живой мертвец с улицы Крамского».

Вера Кисляк писала аккуратно, без единого лишнего слова, и от этого было только хуже. Она знала про труп с документами Ильчука. Она знала, что Ильчук жив. Она знала про дактилоскопию — не подробности, но факт, что «источник в правоохранительных органах сообщил о совпадении отпечатков».

— Кто ей слил? — спросил Гурьев, и это был единственный раз за зиму, когда он повысил голос.

— Не знаю.

— Астахов, у меня в понедельник коллегия по итогам зимы, а у меня в газете «живой мертвец»! — Он бросил газету на стол. — Мне из главка звонили дважды. Меня спросили, не пора ли передать дело в область. Ты понимаешь, что это значит?

— Понимаю.

— Ничего ты не понимаешь. Это значит, что придут четверо, заберут материал, за две недели никого не найдут и напишут представление на меня и на тебя. — Гурьев сел. — Что у тебя реально есть?

— Есть три версии. Первая — близнец: отпадает, мать рожала одного, есть карта роддома, я её поднял. Вторая — кража личности с использованием поддельных документов: отпадает, документы живого подлинные, изготовлены в паспортном столе в две тысячи пятнадцатом. Третья — инсценировка самим Ильчуком: отпадает, у него алиби на смену и он сам к нам пришёл.

— То есть все три отпали.

— Все три отпали, — сказал Астахов. — Осталось четвёртое.

— Какое?

— Что мы неправильно ставим вопрос. — Астахов положил на стол лист. — Мы полторы недели спрашиваем «кто из двоих настоящий». А надо спрашивать «кто убил того, кто в снегу».

Гурьев посмотрел на лист.

— И кто?

— Тот, кому он был должен, — сказал Астахов.

— Долги, — сказал Шмелёв. — Я нашёл долги, и это лучшее, что случилось с нами за неделю.

Он выложил на стол четыре листа.

— Ильчук занимал трижды. Первый раз в позапрошлом году, микрозайм, закрыл. Второй раз в прошлом марте, банк, просрочка сто девяносто дней. Третий раз — вот тут интересно — в ноябре, наличными, у частного лица.

— Кто?

— Дорош Артём Русланович, тридцать пять лет, зарегистрирован как самозанятый, вид деятельности «консультационные услуги». — Шмелёв положил распечатку. — На деле — даёт под процент. У нас на него два материала: в двадцать четвёртом отказ, в прошлом году отказ. Оба раза заявители забирали заявления.

— Сколько занял?

— Со слов жены — она не знает. По распискам, которые Дорош сам предъявил, когда мы его вызвали, — девятьсот тысяч под сорок процентов.

Астахов поднял голову.

— Он сам предъявил расписки?

— Сам, — сказал Шмелёв. — Пришёл, положил и сказал: я законопослушный. — Он поморщился. — Мишань, он гнида, но он умная гнида. Он сразу понял, что мы придём, и решил зайти первым.

— Что говорит?

— Говорит: долг ему вернули двадцать шестого декабря. Полностью, наличными, с процентами.

Астахов положил ручку.

— Девятьсот тысяч?

— Миллион двести шестьдесят с процентами. — Шмелёв кивнул. — Наличными, в конверте, в машине у подъезда. Расписку он вернул, копию оставил себе, вот она, с отметкой «расчёт произведён полностью, претензий не имею», подпись Ильчука.

— Подпись подлинная?

— Отправил на почерковедческую. Но я тебе и так скажу: подлинная. Она такая же, как в паспорте, как на трудовом договоре и как в объяснении, которое он у нас в отделе писал.

Астахов подвинул к себе копию расписки и долго на неё смотрел.

— Костя. Откуда у слесаря-наладчика с зарплатой шестьдесят тысяч миллион двести в декабре?

— Вот, — сказал Шмелёв и выложил пятый лист. — Двадцать четвёртого декабря продана «Лада Гранта», две тысячи восемнадцатого года, шестьсот тысяч. Двадцать пятого декабря снят вклад в «Северном» на четыреста двадцать. Вклад был оформлен в две тысячи двадцатом на имя Ильчука Сергея Павловича и лежал не тронутый пять лет.

— Он про него знал?

— Жена не знала, — сказал Шмелёв. — Я спросил. Она сказала: какой вклад, у нас никогда денег не было.

Астахов встал и прошёлся по кабинету.

— То есть двадцать первого декабря человек возвращается домой. Двадцать четвёртого продаёт машину. Двадцать пятого снимает вклад, о котором не знала жена. Двадцать шестого закрывает долг, из-за которого семье звонили и угрожали. И с этого дня не пьёт.

— И не курит, — сказал Шмелёв. — Ты забыл про сигареты, а я нет.

Он откинулся на стуле.

— Мишань, я эту неделю думал, и я тебе сейчас изложу мою версию, а ты не смейся.

— Не буду.

— Наш живой Ильчук — это не Ильчук. — Шмелёв сказал это буднично, как говорят про погоду. — Это очень качественная подмена. Кто-то влез в чужую жизнь: паспорт, работа, семья, вклад. Такое бывает, я читал, это называется кража личности, и это делают не ради того, чтобы клеить обои. Это делают ради денег.

— И где деньги?

— Вот, — сказал Шмелёв, — вот тут вся моя версия и садится. Потому что он не взял. Он отдал. Он снял вклад и отдал его бандиту, вместо того чтобы уехать с ним в Ключи и жить.

Он помолчал.

— И вот на этом, Мишань, я перестаю понимать вообще всё.

* * *

Дорош Артём Русланович пришёл на допрос в костюме и с папкой, и это была не та папка, с какой ходят люди, которым нечего скрывать. Это была та папка, с какой ходят люди, которые скрывают правильно.

— Артём Русланович. Где вы были в ночь со второго на третье февраля?

— Дома. С супругой.

— Кто ещё может подтвердить?

— Никто. — Дорош улыбнулся. — Мы тихо живём.

— Когда вы последний раз видели Ильчука?

— Двадцать шестого декабря, в машине, когда он рассчитался.

— И больше не искали?

— Зачем? — Дорош развёл руками. — Человек вернул долг. Я его вычеркнул.

Астахов положил перед ним фотографию бытовки.

— Артём Русланович. Вы бывали на Литейном шоссе, промзона, склады «Северодольсклеса»?

— Нет.

— А в декабре и январе вы искали Ильчука?

— В декабре искал, — легко согласился Дорош. — Он мне денег был должен и прятался. Я ему звонил, я к жене подходил, я на работу приезжал. Всё в рамках. Я его не бил, не угрожал, у вас на меня ничего нет, и вы это знаете, иначе бы мы не разговаривали, а я бы сидел.

— Где искали?

— Везде.

— И на складах?

Дорош помолчал одну лишнюю секунду.

— Я мог там проезжать, — сказал он.

Астахов сделал в блокноте пометку и повернул лист, чтобы Дорош видел, что пометка сделана.

— Артём Русланович. Ещё один вопрос, и вы свободны. Вы держите инструмент в машине?

— Какой инструмент?

— Любой.

— Домкрат, — сказал Дорош. — Баллонник. Трос.

— Шило?

Он посмотрел на Астахова очень внимательно.

— Нет, — сказал он.

Машину Дороша осматривали шестнадцатого февраля, по постановлению, на арестплощадке на Заводской, и осматривали её три часа, потому что Астахов велел Лиде разобрать обшивку багажника.

Под обшивкой, в нише запаски, лежала тряпка.

В тряпке лежал предмет.

Гранёный штырь, трёхгранный, в ладонь длиной, с тупым хвостовиком, тёмный от времени. На хвостовике стояло клеймо: две буквы и знак.

Лида подняла его пинцетом, поднесла к свету и сказала:

— Миш. Иди сюда.

Астахов подошёл.

Он смотрел на клеймо секунд двадцать, и Лида успела дважды спросить, всё ли в порядке.

Клеймо было то же самое.

Точно такое же, как на девяти штырях в деревянном ящике в подвале на Тополиной, и на трёх, которые он с октября носил во внутреннем кармане, и на одном, который он в ту же ночь после осмотра достал и положил перед собой на кухонный стол и просидел так до трёх.

— Что это вообще? — спросила Лида. — Похоже на старую заклёпку. Или на пробойник.

— Похоже, — сказал Астахов.

— Тут клеймо какое-то. Буквы. Пробьём по каталогам, у меня знакомый в музее.

— Пробей.

Он сказал это, зная, что ни в одном каталоге ничего не будет.

Экспертиза дала совпадение по форме и размерам раневого канала. Не идентификацию — форму и размеры, чего для суда мало, а для версии достаточно.

Гурьев прочитал справку и впервые за две недели выглядел человеком.

— Ну вот, — сказал он. — Ну наконец-то. Значит, так: Дорош искал должника, нашёл в промзоне, была ссора, есть орудие в его машине. Мотив, возможность, орудие. Астахов, я тебя обнять готов.

— Не спешите.

— Почему?

— Потому что убитый — Ильчук, — сказал Астахов. — А Ильчук получил у Дороша расписку о полном расчёте двадцать шестого декабря. Долга не было. Мотив исчез.

Гурьев перестал улыбаться.

— Тогда кто ему заплатил?

— Вот это, — сказал Астахов, — и есть вопрос, на который у меня нет ответа, который вы согласитесь услышать.

Дорош раскололся двадцатого февраля, на четвёртом допросе, и раскололся не от улик, а от того, от чего колются такие, как он: от арифметики.

— Я его не убивал, — сказал он.

— Штырь из вашей машины.

— Да не мой это штырь! — Дорош наконец сорвался, и вместе с голосом с него сошёл костюм, хотя костюм остался на месте. — Я его там подобрал! В вагончике!

Астахов не пошевелился.

— Рассказывайте.

— Я приехал третьего, — сказал Дорош. — Днём. Мне сказали, что он там ночует.

— Кто сказал?

— Барыга из ломбарда на Литейной, ему этот Ильчук в январе куртку сдавал. — Дорош махнул рукой. — Не важно. Я приехал. Он был в вагончике.

— Долг вам вернули в декабре.

— Вернули, — сказал Дорош. — В том-то и дело, что вернули. Мне двадцать шестого в машину сел человек с лицом Ильчука и отдал миллион двести. Я его знать не знаю, кто он. А потом мне говорят: Ильчук в промзоне живёт, в вагончике, как бомж. Я и поехал посмотреть.

— Зачем?

— Затем, что если мне долг отдал не он, — Дорош постучал пальцем по столу, — то, значит, кто-то за него платит. А если кто-то за него платит, значит, у кого-то есть деньги. Я хотел выяснить, у кого.

В кабинете стало очень тихо.

— И что было в вагончике? — спросил Астахов.

— Он на меня кинулся, — сказал Дорош. — Вот с этим самым. Он его в матрасе держал, я потом смотрел — там дырка прорезана. Он меня узнал и сразу схватил. Кричал, что я с ними заодно.

— С кем?

— Да я откуда знаю! — Дорош вытер лоб. — Он вообще ненормальный был. Он кричал, что его вычеркнули. Что его нет в списках. Я его оттолкнул, он упал, я вышел, штырь у меня в руке остался, я его в машину бросил и уехал. Всё. Живой он был, когда я уезжал. Клянусь.

— Сколько было времени?

— Четыре. Полпятого.

— А потом?

— А потом я домой поехал.

Астахов открыл папку и достал распечатку.

— Артём Русланович. Ваш телефон третьего февраля в девятнадцать сорок регистрируется базовой станцией на Литейном шоссе. Второй раз за день. И находится там сорок минут.

Дорош посмотрел на распечатку.

Потом закрыл лицо руками.

— Я вернулся, — сказал он глухо. — Я вернулся, потому что подумал про деньги. Я подумал: он же не знает, что за него платят. Я его прижму — он мне скажет, кто платит.

— И?

— И он опять кинулся.

Дорош отнял руки от лица, и лицо было мокрое и злое.

— Он на меня кинулся, — сказал он. — Первый. Он мне в глаза смотрел и говорил: убей, всё равно меня уже нет. Я вам это на любом суде скажу, и это правда, и я на это пойду.

Он выдохнул.

— Я его толкнул. Он упал на эту железку. Я не хотел.

— Штырь был у вас в руках?

Дорош молчал восемь секунд.

— Да, — сказал он.

Протокол он подписал в двадцать три десять.

Шмелёв вышел в коридор, прислонился к стене и минуты две ничего не говорил.

— Знаешь, что самое поганое? — сказал он наконец. — Мужик два месяца жил в вагончике, ходил к нам в отдел и просил, чтобы ему вернули фамилию. А убили его за деньги, которых он в глаза не видел.

Глава 14. Гранёное железо

Монета лежала у Астахова в кармане с тридцать первого декабря.

Он нашёл её в тот вечер в пальто, в прихожей, под лай во дворе и крики про бенгальские огни, и она была тёплая — не комнатной температуры, а тёплая, как монета, которую держали в кулаке.

Первое, что он сделал, — пересчитал свои.

Своих у него было три. Одна ушла в двадцать седьмую квартиру на Мебельщиков, вторая — под порог Петру Игнатьевичу, третья лежала в жестянке в подвале на Тополиной, за запертой дверцей, к которой ключ был только у него.

Он съездил ночью первого января и проверил. Третья была на месте.

Значит, эта — четвёртая. Чужая.

За январь он проделал с ней всё, что мог придумать человек, у которого есть доступ к экспертно-криминалистическому отделу и нет объяснения.

Он положил её в морозильник на сутки. Достал — комнатной температуры.

Он оставил её на подоконнике при открытом окне в минус двадцать два, на четыре часа. Достал — комнатной температуры.

Он взвесил её на аптечных весах: одиннадцать целых четыре десятых грамма. Через неделю взвесил снова: одиннадцать целых четыре десятых.

Восемнадцатого января он отнёс её Лиде Ковач и попросил анализ состава, сказав, что это по старому висяку.

— По какому? — спросила Лида.

— По старому.

— Миш, у нас нумерация есть.

— По очень старому, — сказал Астахов.

Заключение она принесла через неделю, и оно было на полстраницы: медь, олово, следы серебра и свинца, характер литья ручной, поверхность имеет следы длительного механического воздействия с одной стороны — проточину, полученную трением о камень или подобный абразив.

— И вот что интересно, — сказала Лида, садясь на край стола. — Я показала знакомому в краеведческом. Он говорит: это не монета.

— А что?

— Заготовка. — Лида пожала плечами. — Кружок для чеканки. Их лили и не чеканили. Он говорит, такие бывали в семнадцатом веке, когда монетные дворы работали кустарно, и часть заготовок уходила налево. Спросил, откуда я взяла.

— И что ты сказала?

— Что из вещдоков по висяку, — сказала Лида. — Миш.

— Да.

— Ты в декабре в деле по Мебельщиков описал точно такой предмет. Номер сорок один, «изделие из белого металла с признаками окисления». Я его сама паковала.

Астахов молчал.

— Я не спрашиваю, — сказала Лида, вставая. — Я говорю, что заметила. Мне так спокойнее.

Ломбард на Литейной, 44 работал с девяти до девяти, и приёмщик по фамилии Кульбида помнил всех, потому что помнить всех входило в его обязанности.

— Куртка? — сказал он. — Была куртка. Пуховик мужской, в январе. Дал шестьсот рублей, товар не выкупили.

— Кто сдавал?

— Без документов не принимаю, — сразу сказал Кульбида.

— Я не про документы, — сказал Астахов. — Я про то, что было дальше.

Приёмщик посмотрел на него, потом на Шмелёва, потом решил что-то для себя.

— Мужик был странный, — сказал он. — Не пьяный, не под чем-то. Просто странный. Он у меня спросил, не беру ли я старое железо.

— Какое?

— Он показал. — Кульбида пожал плечами. — Штырёк такой, гранёный, тёмный. Я говорю: это лом, это не ко мне. А он говорит: мне сказали, что оно дорогое.

— Кто сказал?

— А вот это он и хотел выяснить, — сказал приёмщик. — Он спросил: где такое берут? Я говорю: понятия не имею. А он мне: мне такое дали на рынке, в железном ряду, и я хочу узнать, кто дал.

Шмелёв поднял голову.

— Он что, не знал, кто ему дал?

— Он сказал так, — Кульбида поднял палец, вспоминая точно, — он сказал: «Мне дал человек, а я его лица не помню».

Астахов достал из кармана монету и положил на прилавок.

— А такое к вам не приносили?

Кульбида взял её, повертел, взвесил на ладони и вернул с полным равнодушием.

— Медяшка, — сказал он. — Нет. Такое несут в антикварку, не ко мне. У меня золото, техника, инструмент.

— А в какую антикварку?

— На Стеклова есть, «Старина». — Приёмщик подумал. — Только я вам так скажу: за такую вам там дадут двести рублей и посмотрят как на дурака. Это не нумизматика, это кусок меди.

Он был совершенно прав, и это было единственное трезвое мнение, которое Астахов услышал за всю зиму.

Городской вещевой рынок на Заводской, шестой ряд, торговали железом: скобянка, инструмент бывший в употреблении, гвозди на вес, замки, старые ключи россыпью в ящике.

Астахов ходил по ряду час.

Он спрашивал не про штырь. Он спрашивал про клеймо: показывал на телефоне фотографию хвостовика с двумя буквами и знаком и смотрел на лица.

Одиннадцать человек посмотрели и не увидели ничего.

Двенадцатая — женщина лет шестидесяти в трёх кофтах, торговавшая ключами, — посмотрела, отвела глаза и сказала:

— Не знаю.

— Знаете.

— Не знаю я, мужчина. Идите, вы мне покупателя закрываете.

Астахов постоял, потом положил на прилавок ключ.

Обыкновенный ключ, старого литья, длинный, с квадратной бородкой — от дверцы за фальшивой стеной в доме на Тополиной, 12.

Женщина посмотрела на ключ.

Потом на него.

— Ох ты ж, — сказала она тихо. — А я думала, вы из этих.

— Из каких?

— Идите за палатку, — сказала она. — Тут не буду.

За палаткой, между рядами, где стояли пустые поддоны, она закурила и сказала:

— Пашка даёт.

Астахов не изменился в лице.

— Пашка, — повторил он.

— Ну а кто. Он тут с осени. — Женщина махнула сигаретой. — Стоит через два ряда, торгует барахлом всяким, а на деле — от беды продаёт. Соль, свечи, вот эти штырьки. Возьмёт три тысячи, объяснит, что делать. Кому помогает, кому нет.

— Он вам родня?

— Мне-то? — Она усмехнулась. — У меня сын в позапрошлом году с работы приходить перестал вовремя. Ходит, а сам не он. Я к врачам, а врачи что. Мне соседка про Пашку сказала. Он пришёл, посмотрел и сказал: мать, это не по моей части, это ты его просто перестала знать, он вырос. Денег не взял.

Она затянулась.

— С тех пор я про него молчу. Вы вот первый, кому сказала, и то потому, что у вас ключ дедовский.

— Вы знали деда?

— Егора Кузьмича? — Женщина посмотрела на него с усталой жалостью. — Мужчина, у нас на рынке половина ряда знала Егора Кузьмича. Он к нам сорок лет ходил и ничего не покупал.

— А зачем ходил?

— Смотрел, — сказала она. — Придёт, встанет у ряда, постоит полчаса и уйдёт. Мы сначала думали — из милиции. Потом привыкли.

Она бросила окурок в снег и наступила.

— Я вам вот что скажу, — добавила она. — Он в последний раз был тут года три назад. Постоял и подошёл ко мне. Говорит: Люся, если после меня кто придёт с моим ключом — скажешь ему всё, что знаешь. А если придёт без ключа и будет спрашивать то же самое — не говори ничего.

Павел Астахов торговал в третьем ряду, с раскладного стола, и на столе у него лежали: две коробки саморезов, три сломанных телефона, эмалированная кастрюля, детские санки и стопка книг без обложек.

Ему было тридцать шесть. Он был выше Астахова и шире, и лицо у него было бы совершенно чужим, если бы не глаза — светлые, с тем же тяжеловатым разрезом, что у матери Астахова и у Насти.

Он увидел Астахова издалека и не встал.

— Ну здравствуй, брат, — сказал он.

— Здравствуй.

— Я ждал, — сказал Пашка. — С октября жду. Думал, раньше придёшь.

— Ты знал, что я в городе?

— Я знал, что тебе открылось. — Он подвинул табуретку. — Садись, чего стоишь. Мороз.

Астахов сел.

— Ты давно здесь?

— С августа. — Пашка отхлебнул из термоса. — В Волоцке жил, потом стало неудобно, я сюда. Тут дешевле и меня тут не знают.

— Мать сказала, ты в другом городе.

— Мать меня двадцать лет как похоронила, — сказал Пашка без обиды. — Она правильно сделала, я бы на её месте тоже.

Мимо прошла женщина, посмотрела на санки, спросила цену, Пашка сказал «полторы», женщина ушла.

— Ты продаёшь родовое железо, — сказал Астахов.

— Продаю.

— Дед его ковал?

— Дед не ковал, дед хранил. Ковали до нас, лет двести назад. — Пашка пожал плечами. — В доме у дядь Вити была своя жестянка. Мне от отца досталось семьдесят три штуки. Осталось сорок с чем-то.

— Ты понимаешь, что делаешь?

— Понимаю лучше тебя, — сказал Пашка спокойно. — Ты сейчас скажешь: нельзя раздавать это кому попало. А я тебе скажу: ко мне приходят люди, которым больше некуда. Я им даю железо и объясняю, как. Иногда помогает. Иногда нет.

— Ты берёшь деньги.

— Я беру три тысячи, — сказал Пашка. — Я живу с рынка, брат. У меня нет пенсии по линии рода. Дед мне не оставил дом с подвалом, дед оставил его тебе.

Он сказал это без злости, и от этого стало хуже.

— В декабре ты дал штырь человеку, — сказал Астахов. — Мужчина, сорок один год. Говорил, что его место в доме занял другой.

Пашка перестал улыбаться.

— Приходил, — сказал он.

— Ты его помнишь?

— Я его два месяца помню и, наверное, буду ещё долго. — Пашка убрал термос. — Он пришёл перед Новым годом. Сказал: у меня дома живёт человек с моим лицом. Я говорю: пойдём посмотрю. Пошли.

— И?

— И я посмотрел, — сказал Пашка. — Три вечера смотрел, из двора. И ничего не увидел, брат. Вообще ничего. Обычный мужик, ходит с работы, хлеб несёт.

— Подменного не видно.

— Подменного не видно, — кивнул Пашка. — Я тогда этого не знал, я в книге не читал, у меня книги нет. Я решил, что человек болен.

— Ты ему сказал?

— Я ему сказал: мужик, там нет никого, тебе к врачу. А он не поверил и стал просить. И я ему продал железо за три тысячи, потому что он просил, а мне надо было платить за комнату.

Он посмотрел на свои руки.

— Вот это я и делаю, брат, — сказал он. — Ты вот пришёл меня стыдить, а я сам себя две недели стыжу, с тех пор как в газете прочитал.

Астахов молчал.

— Он этим железом Дорошу в глаза лез, — сказал Пашка. — А Дорош его этим же железом. Я знаю. Я не дурак, я читаю.

— Ты бы ему всё равно не помог.

— Я бы его выслушал, — сказал Пашка. — Мне не убудет. Я вместо этого взял три тысячи и сказал: там пусто.

Мимо пробежали двое подростков, кто-то в конце ряда крикнул, что закрываются в шесть.

Астахов достал монету и положил её на стол между коробкой саморезов и кастрюлей.

— Скажи мне, что это.

Пашка посмотрел.

И вот тут с него сошло всё: и рыночная развязность, и усталая ирония, и тридцать шесть лет.

Он не взял монету. Он отодвинулся от стола вместе с табуреткой, на полшага, и это движение было быстрое и совершенно непроизвольное.

— Где взял? — спросил он.

— В кармане пальто. Тридцать первого декабря.

— Не в своём кармане.

— В своём, — сказал Астахов. — В том-то и дело.

Пашка сидел, глядя на медный кружок, и молчал секунд десять.

— Убери, — сказал он наконец. — Не на столе. Тут люди ходят.

Астахов убрал.

— Объясняй.

— Деньга под порогом — это откуп, — сказал Пашка. — Ты это, я вижу, уже знаешь. Кладёшь под порог, студёная берёт медь и не берёт тебя. Так делали по всей Слободе, у нас в доме тоже лежала, у порога, отец её раз в год протирал.

— А в кармане?

— А в кармане — это не откуп, — сказал Пашка. — В кармане — это счёт.

— Что значит счёт?

— Это значит, что за тебя уже заплачено, — сказал Пашка. — Понимаешь? Ты откупаешься сам — кладёшь свою. А если тебе кладут чужую, значит, тебя откупили. Кто-то положил медь за тебя. И теперь ты не сам по себе, ты у него в книге.

Астахов почувствовал, как в затылке потянуло — знакомо, тупо, как в октябре у экрана с размытым лицом.

— В какой книге?

— Да откуда я знаю в какой! — Пашка вдруг разозлился, и злость была на себя. — Мне бабка это в восемь лет объяснила, на кухне, за чаем. Я тогда думал — сказка. Я это двадцать восемь лет вспоминаю по кускам, брат, у меня нет твоего подвала, у меня есть память восьмилетнего пацана.

Он взял термос и тут же поставил обратно.

— Она сказала так, — проговорил он медленно. — «Пашенька, если тебе однажды в карман положат медь — это не подарок и не беда. Это как повестка. Тебя позовут, и ты пойдёшь».

— Куда пойду?

— Договариваться, — сказал Пашка.

Они помолчали.

— Ты когда-нибудь такую находил? — спросил Астахов.

— Нет, — сказал Пашка. — Я мелкий, брат. Меня не откупают, я сам по себе, я на рынке стою. Такое кладут тем, с кем собираются говорить.

Он поднял глаза.

— Настя такую находила, — сказал он.

В железном ряду грохнуло — кто-то уронил ящик с замками, и в конце ряда заругались, и Астахов услышал это очень отчётливо и как будто издалека.

— Откуда ты знаешь?

— Она мне звонила, — сказал Пашка. — В марте. Первый раз за десять лет. Нашла меня через тётку в Волоцке.

— Что она сказала?

— Она сказала: Паш, у меня в куртке медяк, а я его не клала. — Пашка смотрел мимо. — И спросила ровно то же, что ты: что это. Я ей ответил ровно то же, что тебе: это счёт, тебя откупили, тебя позовут.

— И?

— И она сказала: значит, я откажусь.

Пашка встал и начал складывать стол.

— Одиннадцатого апреля её не стало, — сказал он. — Я на похороны не поехал. Меня мать не позвала, а сам я не набрался.

Он защёлкнул стол и взвалил на плечо.

— Ты про это у неё в вещах поищи, — сказал он. — Если она куда медяк дела, то не выбросила. Мы такое не выбрасываем, брат, у нас рука не поднимается. Это в крови.

* * *

Он не поехал домой сразу.

Он поехал на Тополиную, спустился в подвал, зажёг все четыре лампы и три часа искал в тетрадях слово «деньга» — не под порогом, а в кармане.

Нашёл во второй тетради, за семьдесят девятый год, когда деду было тридцать восемь и он писал ещё крупно, с нажимом:

«Отец объяснил про счёт, а я записываю, чтобы не забыть и чтобы после меня было.

Медь под порог кладёт хозяин — за себя. Медь в карман кладут за тебя, и это не злоба и не угроза. Это, как он сказал, приглашение к разговору. У них так заведено: сперва платят, потом говорят. Пока медь у тебя, тебя не считают — за тебя уплачено.

Отсюда правило: медь не выбрасывать, не терять, не отдавать. Пока она при тебе, ты в разговоре. Как её не станет — разговор кончен, и дальше как обычно.

Спросил отца, можно ли отказаться. Он сказал: отказаться можно, и это будет честно, и это будет твоё право. Только вернуть медь надо в руки, а не бросить. Кто бросил — тот отказался нехорошо, и это уже другой счёт.»

Астахов дочитал.

Потом он снял с полки двенадцатую тетрадь — ту, из которой мать вырвала два листа, — и открыл на записи от второго октября, которую знал наизусть:

«Настя говорит, что видела в городе тавро».

Он перечитал её в четвёртый раз и только теперь заметил то, что было на строчку ниже и что он все эти месяцы проскакивал, потому что искал слово «тавро»:

«Спросил, при ней ли ещё её медь. Сказала — при ней. Ну хоть так».

Астахов сидел, положив ладонь на страницу.

«Пока медь при тебе, тебя не считают».

Одиннадцатого апреля Настя ехала по Северному мосту в двадцать три сорок, в дождь, и её машина пробила ограждение без единого следа торможения.

Значит, к одиннадцатому апреля медь при ней уже не была.

К матери он поехал в тот же вечер, хотя было полдвенадцатого.

Нина Егоровна открыла дверь, посмотрела на него и сразу ушла на кухню ставить чайник — она всегда так делала, когда понимала, что разговор будет длинный.

— Я видел Пашку, — сказал Астахов, садясь.

Мать не обернулась.

— Он в городе с августа, — сказал Астахов. — Стоит на рынке на Заводской. Ты знала.

— Знала.

— Ты сказала мне, что он в другом городе.

— Я сказала, что он в другом городе, — согласилась Нина Егоровна, ставя перед ним чашку. — Я и сейчас скажу. Он в другом городе, Миша. Он в нём двадцать лет, просто этот город стоит на той же карте.

Она села напротив.

— Что он тебе продал?

— Ничего.

— Значит, скоро продаст. — Мать сказала это без злости. — Он не плохой, ты не думай. Он слабый и он один. Ему четырнадцать было, когда Витя разбился, и его никто в подвал не позвал, потому что отец не успел, а дед не захотел.

— Почему не захотел?

— Потому что дед подписал мировую, — сказала Нина Егоровна. — А по мировой своих не учат. Он и меня не учил после девяносто восьмого, и Витю просил не лезть. Витя полез.

Астахов держал чашку и не пил.

— Мам. Дядя Витя разбился на трассе в две тысячи первом.

— В две тысячи первом, — кивнула она.

— На сухой дороге. Днём.

— Миша.

— Ты знала это двадцать пять лет.

Нина Егоровна посмотрела на него, и взгляд у неё был тот же, что в декабре: сухой, без слёз, и оттого невыносимый.

— Я знала, что мне так спокойнее, — сказала она. — Ты хочешь, чтобы я сейчас сказала «я догадывалась»? Я догадывалась. Я двадцать пять лет догадывалась, растила двоих и работала в читальном зале. Одно другому не мешало.

Астахов достал монету и положил на клеёнку.

Мать посмотрела на неё.

Она не отодвинулась, как Пашка. Она сделала другое: очень аккуратно, двумя пальцами, придвинула к монете сахарницу, будто хотела, чтобы медяк не лежал на виду один.

— Когда? — спросила она.

— Тридцать первого декабря.

— В кармане?

— В кармане.

Нина Егоровна кивнула — так кивают на диагноз, который ждали.

— У меня была такая, — сказала она.

Астахов поставил чашку.

— Когда?

— В девяносто восьмом. За две недели до того, как он пришёл. — Мать смотрела на монету. — Я её нашла в кармане халата. Я тогда работала на полторы ставки, и Витя был жив, и вы оба ходили в сад. Я показала отцу. Он посмотрел и сказал: не выбрасывай.

— Ты не выбросила.

— Я не выбросила, — сказала Нина Егоровна. — Я её носила в кошельке восемь месяцев. А потом отец подписал мировую, и через неделю она пропала. Просто её не стало в кошельке, и всё.

— То есть разговор кончился.

— То есть разговор кончился, — сказала мать. — Договорились — и медь забрали. Я тогда полночи сидела на этой самой кухне и была счастлива, Миша. Я была по-настоящему счастлива, потому что поняла: всё, нас больше нет в этой истории.

Она подняла глаза.

— Двадцать восемь лет, — сказала она. — Двадцать восемь лет я думала, что нас в ней нет.

— Мам. У Насти была такая же?

Нина Егоровна очень долго молчала.

— Я не знала, — сказала она наконец. — Клянусь тебе, я не знала. Она мне не сказала.

— Пашка говорит, она нашла её в марте.

— В марте. — Мать повторила это слово так, будто пробовала его на зуб. — В марте она приехала ко мне и мы поругались. Двадцать девятого. Я ей сказала: закрой глаза и живи.

Она встала, отошла к раковине и стояла спиной, положив руки на край.

— Она пришла ко мне с этим, — сказала Нина Егоровна. — Она пришла ко мне сказать, что у неё в кармане медь, и что её позовут, и что она не знает, как ответить. А я не дала ей договорить. Я начала про то, что она себя накручивает.

В кухне капало из крана. За стеной у соседей работал телевизор.

— Мам.

— Не надо, — сказала она.

— Мам, ты не могла знать.

— Могла, — сказала Нина Егоровна ровно. — Я двадцать восемь лет отворачивалась, Миша, и я в этом хороша. Я так хорошо это умею, что отвернулась от родной дочери, когда она стояла в этой прихожей и ждала, чтобы я спросила.

Она вытерла руки полотенцем — сухие руки, тщательно, обеими сторонами.

— Иди домой, — сказала она. — И поищи у неё в вещах. Ты их так и не разобрал, я знаю.

* * *

Коробки стояли в маленькой комнате, вдоль стены, шесть штук, и на них с апреля лежала пыль ровным серым слоем, как лежит только на том, к чему не прикасаются.

Астахов вскрыл первую в час ночи.

Книги. Тетради с конспектами. Кружка с отбитой ручкой, которую надо было выбросить ещё в институте. Фен. Провода.

Во второй — одежда, сложенная матерью так, как складывают, когда руки делают, а голова нет: аккуратно и не по размеру, свитер поверх летнего платья.

В третьей — обувь.

В четвёртой он нашёл сумку.

Ту самую, серую, которую ему отдали в апреле вместе со связкой ключей, и которую он тогда открыл один раз, увидел кошелёк и пудреницу и закрыл.

Он вытряхнул её на пол.

Кошелёк. Помада. Пудреница. Блистер таблеток от головы. Наушники, замотанные в узел. Три чека. Ключница.

Монеты не было.

Он проверил кошелёк — все отделения, включая то, что на молнии. Пятьдесят рублей мелочью, банковская карта, дисконтная карта аптеки, фотография, где им обоим по двенадцать и восемь.

Монеты не было.

Астахов сел на пол среди Настиных вещей и просидел так, наверное, минут двадцать.

Потом он подвинул к себе пятую коробку.

В ней лежало то, что мать называла «с работы»: Настя работала в проектном бюро на Кедрина, и коллеги собрали её стол в картонку — степлер, рамка с фотографией, кактус в горшке, засохший ещё летом, чайная пара, коробка с чаем.

Он открыл коробку с чаем.

Внутри, под пакетиками, лежал сложенный вчетверо тетрадный лист.

Астахов развернул его.

Настин почерк, тот самый, с завитком на «д», торопливый, писано явно на коленке:

«Если это читает кто-то из наших — я не отказалась. Я вернула её в руки, как положено, 9 апреля, у Северного моста. Он взял и сказал, что это честно.

Мам, если это ты — прости. Мишка, если это ты — не выбрасывай свою, а то будет как со мной. Сначала поговори.»

Астахов держал лист двумя руками и читал его пять раз подряд.

Девятого апреля она вернула медь.

Одиннадцатого апреля её машина ушла с моста.

И между этими двумя днями лежали ровно двое суток, за которые кто-то посчитал разговор оконченным.

Он поднял голову и посмотрел на часы. Было половина третьего ночи.

Потом он достал из кармана свою монету, положил её на ладонь и долго на неё смотрел.

Она была тёплая.

Она была тёплая всю зиму, и он два месяца думал, что это метка.

Оказалось — это единственное, что стоит между ним и той бумагой, которую в апреле прошлого года подшили в отказной материал по факту дорожно-транспортного происшествия на Северном мосту.

Глава 15. Приговор

Уголовное дело в отношении Дороша Артёма Руслановича направили прокурору двадцать седьмого февраля.

Обвинение: причинение смерти в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, связанных с ранее имевшимися долговыми обязательствами потерпевшего.

Собственно, всё было доказано.

Дважды выезжал в промзону — билинг подтверждает. Орудие изъято из его автомобиля. Признательные показания даны в присутствии адвоката и подтверждены на месте. Экспертиза совпадает по форме раневого канала. Мотив — деньги.

Единственное, что в деле не сходилось, было имя потерпевшего.

Ильчук Сергей Павлович, сорок один год, проживающий по адресу улица Крамского, 18, квартира 62, был жив, работал в первую смену и в прошлую пятницу получил премию к празднику.

— Астахов, — сказал Гурьев. — Мне это надо закрыть.

— Знаю.

— Ты понимаешь, что у меня в деле труп с фамилией живого человека?

— Понимаю.

— И что мне писать?

Астахов положил на стол справку.

— Пишем так, — сказал он. — Потерпевший — неустановленное лицо. Личность не установлена. При нём обнаружены документы на имя гражданина Ильчука С. П., которые, по заявлению последнего, были утрачены в декабре вместе с ключами. Соответствующее заявление Ильчук написал вчера, я его приобщил.

— А дактилоскопия?

— Дактилоскопия — это отдельная строка, — сказал Астахов. — Совпадение с дактилокартой Ильчука есть. Я направил запрос в экспертно-криминалистический центр о возможной ошибке при первичном дактилоскопировании в две тысячи девятнадцатом году, потому что режимный цех оформлял двести человек за три дня.

Гурьев смотрел на него исподлобья.

— И тебе ответят, что ошибка возможна.

— Ответят, — сказал Астахов. — Она правда возможна.

— И это ложь.

— Это не ложь, — сказал Астахов. — Это единственное, что я могу написать в бумаге, не написав того, чего в бумаге быть не может.

Гурьев долго молчал.

— Дорош от этого не выиграет? — спросил он.

— Нет. Он убил человека. Кто был этот человек, для его статьи значения не имеет.

— А для семьи? — Гурьев смотрел на него в упор. — Хоронить-то кому?

— Я оформлю как невостребованное, — сказал Астахов. — И займусь этим сам.

Гурьев подписал.

Уже у двери он сказал:

— Астахов. В октябре ты мне сказал: он был не один. Помнишь?

— Помню.

— Я тогда спросил, есть ли у тебя хоть что-нибудь, и ты сказал «нет». — Гурьев положил ручку. — Я тебя сейчас не спрашиваю. Я тебе говорю: когда у тебя будет — приходи. Я тебе не поверю, но я тебя выслушаю. Это, извини, всё, что я умею.

Похороны были третьего марта, на Северном кладбище, в дальнем секторе, где хоронят тех, за кем никто не пришёл.

Пришли четверо: Астахов, Шмелёв, Радченко и Пал Палыч, дворник из Заречного парка, которому Астахов позвонил сам, не очень понимая зачем, и который приехал на двух автобусах и привёз еловый лапник.

— А чего вы меня-то позвали? — спросил Пал Палыч.

— Потому что вы придёте, — сказал Астахов.

Табличку сделали с номером и датой.

Шмелёв стоял, засунув руки в карманы, и смотрел на мёрзлую землю.

— Мишань.

— Да.

— Я хочу тебе одну вещь сказать, и ты меня не перебивай. — Шмелёв не поворачивался. — Я в декабре запросил камеры с моста. Мне ответили ерунду, и я тебе показал, а ты сказал: убери. Я убрал.

— Костя.

— Не перебивай. — Он всё-таки повернулся. — В феврале я запросил ещё раз. Через другой отдел, по другому поводу, и мне пришёл тот же ответ слово в слово. Тот же самый, понимаешь? Не похожий. Тот же. С теми же камерами и теми же работами, которых не было.

Астахов молчал.

— Я не знаю, во что ты влез, — сказал Шмелёв. — Я тебя не спрашиваю уже четыре месяца, и мне это, если честно, поперёк горла. Я тебе одно скажу: я в этом деле тоже уже стою. Не потому, что ты меня позвал. Потому что я сам запросил, и меня теперь тоже кто-то посчитал.

Он натянул шапку.

— Так что ты не думай, что ты меня бережёшь, — сказал он. — Ты просто молчишь. Это разные вещи, Мишань.

Он пошёл к машине.

— Костя, — сказал Астахов.

Шмелёв остановился.

— Весной, — сказал Астахов. — Дай мне до весны.

Шмелёв постоял, глядя в сторону.

— Ладно, — сказал он. — До весны.

* * *

К Ильчукам Астахов приехал вечером четвёртого марта, когда с крыш первый раз за зиму капало.

Ильчук открыл сам.

— Марина с Ксюшей у сестры, — сказал он. — До воскресенья.

— Я знаю. Я звонил.

Ильчук отступил, пропуская его.

Они сели на кухне. Ильчук поставил чайник, достал две кружки, и всё это было ровно так же, как в прошлый раз, и всё-таки не так же.

— Вы похоронили его, — сказал он.

— Похоронил.

— Спасибо.

— Не мне, — сказал Астахов. — Я в этом никак не участвовал по-хорошему. Я его два месяца не искал, а когда нашёл, он уже лежал в снегу.

Ильчук налил чай.

— Я знаю, кто вы, — сказал он.

— Да?

— Не по имени. — Он поставил чайник. — Мне про таких говорили. Что есть люди, которые смотрят и решают. И что таким лучше не попадаться, потому что у них книга.

— И что вы про эту книгу знаете?

— Что там про каждого написано одно слово, — сказал Ильчук.

Астахов положил руки на стол.

— Про вас написано «опасен при условии», — сказал он.

— Какое условие?

— Пока жив тот, с кого вы списаны.

Ильчук сидел очень прямо и смотрел в кружку, и Астахов увидел, что он это уже знает — знает недели три, с того самого дня, как ему сказали про тело в промзоне.

— Я это чувствую, — сказал Ильчук наконец.

— Как?

— Как будто из комнаты убрали свет и я хожу по памяти. — Он поднял глаза. — Я пятнадцать лет смотрел на него. Я знал, как он ставит ботинки, как он берёт кружку, как он злится, за что он злится. Я всё это знал, и я делал наоборот, и получалось хорошо. Я знал, каким надо быть, потому что был он.

— А теперь?

— А теперь я не знаю, — сказал Ильчук. — Я в понедельник накричал на Ксюшу. Первый раз. За грязную чашку. Я потом три часа сидел и разбирал, почему я это сделал, и не разобрал.

В кухне капал кран.

— Что вы будете делать? — спросил Астахов.

— А что я могу?

— Уйти.

Ильчук горько усмехнулся.

— Куда? Я не он. Я вообще никто, у меня нет ничего, кроме его паспорта. — Он обвёл кухню взглядом. — И потом. Марина в декабре первый раз за пятнадцать лет заснула раньше полуночи. Ксюша в феврале привела подругу домой. Она восемь лет никого не приводила, вы понимаете? Восемь лет ей было стыдно.

— Я понимаю.

— И вы всё равно решаете.

— Решаю, — сказал Астахов.

Ильчук поставил кружку.

— Тогда решайте, — сказал он спокойно. — Я вам мешать не буду. Я только попрошу: не здесь. Пусть они думают, что я ушёл.

Астахов молчал долго.

За окном оттаивало, капало, где-то во дворе стучали лопатой по льду.

— Условие, — сказал он наконец, — не «убить». Условие — «решать и не откладывать». Это разные вещи, и в моей семье их двести лет путали.

— И что это значит?

— Это значит, что я приду через неделю, — сказал Астахов. — А потом ещё через неделю. И буду ходить, пока не пойму. Если вы хоть раз поднимете на них голос так, как поднимал он, — я решу в тот же день.

Ильчук смотрел на него.

— Вы будете за мной ходить, — сказал он.

— Всю жизнь, — сказал Астахов. — Столько, сколько у нас с вами её есть.

— Это очень тяжело.

— Это тяжело, — согласился Астахов. — Но это честнее, чем не глядя.

Он встал и надел куртку.

В коридоре, у вешалки, он остановился.

На четвёртом крючке, крайнем, у самой двери, ничего не висело.

Куртка Ильчука висела на третьем.

Заключение генетической экспертизы пришло девятого марта, с опозданием в четыре дня, обыкновенным конвертом с областным штампом.

Астахов вскрыл его в кабинете, при Шмелёве.

«Установлено совпадение генетического профиля неустановленного лица (объект № 1) с генетическим профилем, полученным из образцов, изъятых при осмотре жилища по адресу: ул. Крамского, 18, кв. 62 (объект № 2). Вероятность случайного совпадения — менее одной десятимиллиардной».

Шмелёв прочитал через плечо.

— Ну и что мы с этим делаем? — спросил он.

— Приобщаем.

— Мишань, это значит, что покойник и живой — один человек.

— Это значит, что зубная щётка из ванной и покойник — один человек, — сказал Астахов. — Больше это ничего не значит. Мы не брали образец у живого.

— А почему мы не брали образец у живого?

Астахов посмотрел на него.

— Потому что я его не назначил, — сказал он.

Шмелёв постоял, потом взял заключение, прочитал ещё раз, вложил в дело и подшил.

— Понял, — сказал он. — Не понял, но подшил.

* * *

* * *

Марину Ильчук он встретил случайно, шестнадцатого марта, у супермаркета на Крамского.

Она стояла у входа с двумя пакетами и ждала, пока пройдёт снегоуборочная машина.

— Михаил Сергеевич.

— Марина Викторовна.

Она выглядела иначе. Не помолодела — выспалась; это разные вещи, и это было заметно за пять шагов.

— Вы его нашли? — спросила она. — Того, второго.

— Мы установили, что человек, найденный в промзоне, — неустановленное лицо, — сказал Астахов. — С документами вашего мужа. Документы были утрачены в декабре.

Марина смотрела на него.

— Вы сейчас говорите как бумага, — сказала она.

— Да.

— А по-человечески?

Астахов молчал.

Мимо прошла снегоуборочная, обдав их волной сырого снега, и Марина машинально отступила, прикрывая пакеты.

— Я в феврале перестала пить те таблетки, — сказала она. — Не потому, что вылечилась. Потому что поняла: я не хочу выяснять.

— Марина Викторовна.

— Нет, вы послушайте. — Она перехватила пакеты. — Я пятнадцать лет знала правду. Я каждый день точно знала, что мой муж — это мой муж, и что он придёт и что будет дальше. Вот это была правда, и я в ней жила, и у меня от этой правды дочь восемь лет никого домой не приводила.

Она посмотрела ему прямо в лицо.

— А теперь я не знаю. И у меня в доме тихо, Ксюша смеётся, и мне по утрам не страшно открывать глаза. — Она помолчала. — Скажите мне, что я плохая мать, и я пойду.

— Вы не плохая мать.

— Тогда скажите что-нибудь другое.

— Я буду рядом, — сказал Астахов.

Марина нахмурилась.

— В каком смысле?

— В прямом. — Он достал визитку и написал на обороте второй номер, домашний, который не давал никому. — Если что-нибудь изменится — что угодно, любая мелочь, хоть голос, хоть взгляд, — вы звоните мне в любое время суток. Не в дежурную часть. Мне.

Она взяла карточку и посмотрела на неё.

— Вы что-то знаете, — сказала она.

— Я знаю, что за вами теперь есть кому смотреть, — сказал Астахов. — Это всё, что я могу вам дать, и это меньше, чем вы заслуживаете.

Марина Ильчук положила визитку в карман.

— Знаете, — сказала она, — вы первый за всю зиму, кто не сказал мне, что я себя накрутила.

Она пошла к подъезду и на середине двора обернулась.

— Михаил Сергеевич! А вы сами-то спите?

— Плохо, — честно сказал Астахов.

— Ну хоть тут мы с вами одинаковые, — сказала она.

Вечером Астахов заехал на рынок.

Третий ряд был пустой. Стол Пашки стоял сложенный у стены, накрытый клеёнкой, и клеёнку прижимал кирпич.

— Уехал, — сказала женщина из ключевого ряда. — Вчера ещё. Съехал с комнаты, всё забрал.

— Сказал куда?

— Мне-то? — Она пожала плечами. — Сказал только: передайте брату, если придёт, что он сам себе выбрал.

— И всё?

— И вот ещё оставил.

Она достала из-под прилавка конверт.

Обычный, почтовый, без надписи.

Астахов открыл его в машине, при свете салона.

Внутри лежала фотография. Чёрно-белая, любительская, размером с ладонь, с истрёпанными углами.

Февраль, снег во дворе, забор — тот самый забор дома на Тополиной, 12, только доски новее. У калитки стоят четверо и смотрят в объектив: дед, Егор Кузьмич, в телогрейке; мать, Нина Егоровна, молодая, в платке, с двумя детьми — мальчик лет пяти держит её за руку, девочка на руках; и дядя Витя, широкий, в кепке.

А чуть в стороне, у самой калитки, стоит пятый.

Мужчина в пальто. Без шапки.

Астахов поднёс фотографию к самому свету и смотрел на неё, наверное, минуту.

Пальто было резкое. Пуговицы были резкие. Была видна даже строчка на воротнике.

Лицо было размытым пятном.

Он перевернул фотографию.

На обороте дедовым почерком, чернилами, было написано:

«21 февраля. Мировая».

И ниже, другим нажимом, будто много позже:

«Он не менялся. Спроси у матери, каким он был при прадеде».

Книга 4. Вызов на себя. Глава 16. Вызов на себя

Вызов принял диспетчер Гулевич в двадцать три пятьдесят две.

— Скорая, слушаю.

В трубке было дыхание.

— Скорая, говорите. Что случилось?

Дыхание. Быстрое, неглубокое, с той характерной паузой на вдохе, которую Гулевич за одиннадцать лет научился узнавать, не думая.

— Адрес назовите. Адрес.

Что-то стукнуло — не в трубке, а дальше, в комнате.

Гулевич уже смотрел на экран, где высвечивался номер и привязанный к нему адрес: Полевая, 26, квартира 9. Он уже нажимал.

— Слышу вас, — сказал он в трубку. — Бригада выехала. Не кладите трубку, говорите со мной. Как вас зовут?

Связь оборвалась.

Гулевич перезвонил. Пошли гудки, и он слушал их все двадцать, и всё это время смотрел на строчку в базе, где рядом с номером стояло имя абонента, потому что номер был служебный, привязанный к подстанции.

«Ветлицкая О. А., врач, 3 п/с».

Бригада приехала в ноль ноль девять.

Дверь была заперта. Фельдшер Тимохин колотил в неё две минуты, потом побежал к соседям, потом вниз — искать, кто вскроет.

В ноль тридцать шесть дверь открыл наряд, приехавший на сигнал.

Оксана Аркадьевна Ветлицкая, тридцати восьми лет, врач выездной бригады третьей подстанции, лежала в комнате между диваном и столом. Телефон был на полу, в полуметре, экраном вниз.

На столе стояла початая коробка конфет и две чайные пары.

Обе чашки были грязные.

Астахов приехал в час двадцать.

Полевая, 26 — панельная девятиэтажка, двор с новой детской площадкой и старыми тополями, и от подъезда до дома, где жила мать Астахова, было четыреста метров и один поворот.

Он отметил это про себя и убрал.

— Ну что вы за человек, — сказал Гринько вместо приветствия. Он был в весенней куртке и без шапки, и волосы у него стояли дыбом. — Апрель, ночь с воскресенья на понедельник, я лёг в одиннадцать.

— Что имеем?

— Имеем врача, — сказал Гринько. — И это, Астахов, я вам говорю сразу, будет громкое дело, потому что медиков в этом городе триста человек, и завтра к обеду об этом будут знать все триста.

Астахов присел.

Женщина лежала на боку, подтянув правую руку под себя. На ней был домашний костюм и шерстяные носки. Волосы собраны в хвост.

— Причина?

— Тупая травма головы, — сказал Гринько. — Одна. Затылочная область. Предмет тяжёлый, с ограниченной поверхностью.

— Падение?

— Не падение. — Гринько показал карандашом на угол стола, потом на пол. — Я проверил все углы, все кромки. И геометрия не та, и высота не та. Её ударили.

— Сколько ударов?

— Один, — сказал Гринько. — Один, Астахов. Это важно, запишите. Один удар и всё. Ни борьбы, ни защитных повреждений на руках, ни второго удара, ни третьего.

— То есть не в драке.

— То есть человек ударил один раз, — сказал Гринько, — и остановился.

Лида Ковач работала у стола.

— Две чашки, — сказала она, не поднимая головы. — Обе пили. Заварка в чайнике свежая, ещё тёплая была, когда я приехала. Коробка конфет вскрыта, четыре штуки съедены.

— Гости?

— Гость, — сказала Лида. — Один. И вот ещё что тебе не понравится: он вымыл ложки.

Астахов посмотрел на неё.

— Ложки?

— Две чайные ложки. — Лида показала на сушилку у раковины. — Стоят чистые, мокрые. Чашки грязные, конфетница грязная, а ложки помыты. Я такое второй раз в жизни вижу.

— Первый раз когда был?

— В двадцать втором. Мужик задушил жену и вымыл посуду. Всю. Восемнадцать предметов. — Лида пожала плечами. — Психолог тогда сказала: это не заметание следов, это попытка вернуть комнате порядок.

Астахов встал и обошёл квартиру.

Двушка, чисто, книг много, на подоконнике рассада в стаканчиках — помидоры, подписанные фломастером. На холодильнике — магниты и расписание смен, распечатанное на принтере.

В прихожей на крючках висели куртка, ветровка и рабочая, с шевроном скорой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.